

Николай Веревожкин



КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА ШУЛЬЦА

Посвящается Бахыту Сагинбаеву и его дочке Айаре

И пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед.

И я взял книжку из рук Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед, когда же я съел ее, то горька стала во чреве моем.

Откровение святого Иоанна Богослова (10: 9–10)

1974-й

Провожая, старый Шульц сердечно обнимает меня, прижимает к груди и нежно похлопывает по спине, бокам и бедрам.

Я смущен. Ошарашен. Такое страстное выражение приязни кажется мне несколько противоестественным.

Слегка помятый, я выхожу на крыльцо, оглядываюсь и вижу, что все гости без различия пола и возраста проходят ту же процедуру. Правда, обхлопывает и поглаживает их хозяин не так усердно.

Я успокаиваюсь и с облегчением вздыхаю. До меня доходит смысл ритуала. Хозяин заключает каждого гостя в объятия, опасаясь, как бы тот ни припрятал под одеждами редкую книгу из домашней библиотеки. Банальный таможенный досмотр. Меня же он обхлопывал, оглаживал и даже обнюхивал особенно тщательно, поскольку вел я себя весьма подозрительно.

В тот майский вечер я был удостоен высокой чести присутствовать на заседании клуба книголюбов «Зеленая лампа». Хотя я не понимал, зачем собираться в пчелиные рои, если процесс чтения требует одиночества. Рекомендовала меня председателю общества Теодору Шульцу, в чьем частном доме и проходили встречи, Марья Павловна Тиренская.

С ней же мы познакомились за день до того в букинистическом магазине на Гоголя, одновременно вцепившись в томик Эдуарда Багрицкого. Я потянул его к себе, она к себе. Наши взгляды скрестились холодными шпагами дуэлянтов. Она с невероятной для женщины силой потянула Багрицкого к себе. Я не отпускаял. Я



потянул к себе. Она не выпускала. Над Багрицким нависла реальная угроза быть разорванным надвое с отчаянным криком: «Так не доставайся же ты никому!» Но в этот момент Марья Павловна улыбнулась мне. Я – ей. И сдался. Багрицкий был спасен.

– На свете, оказывается, еще сохранились рыцари, – вогнула она меня в краску незаслуженным комплиментом.

И мы разговорились. Выяснилось, что оба без ума от Федерико Гарсиа Лорки. Люди, потрясенные одними и теми же стихами, – родственные души и обречены на сближение. Из магазина вышли друзьями. Дружба не бывает без жертв. И я принес ее, уступив книгу поэта, изданную при его жизни.

Марья Павловна отблагодарила меня, представив Теодору Шульцу:

– Этого молодого человека не надо развлекать разговорами. Тимур не мастак говорить. Просто подведи его к книжной полке и забудь о нем навсегда. Он развлечет себя сам. Не беспокойся. Юноша умеет обращаться со старыми книгами и пожилыми женщинами.

С какой ревностью посмотрел на меня Шульц! С какой неискренней улыбкой пожимал мою руку. Он произносил слова, приличные при знакомстве, а глаза говорили: «Я смотрю за тобой, о коварный похититель книг». Колючие, подозревающие, недоверчивые глаза ревнивца.

Шульц приревновал меня к своей библиотеке.

И не зря. Я влюбился в нее с первого взгляда и на всю жизнь. В таинственный полусумрак стеллажей, в тревожащий и возбуждающий запах старинных фолиантов. Библиотеке было за сто лет. Только что, обходя лужи, я шел скучной улицей пригорода вдоль забора, выложенного из дикого необработанного камня. Внезапно в сером заборе открылась калитка, и я попал в райский сад, о котором много слышал, много читал и в который, конечно же, не верил. Библиотека Шульца на треть состояла из знакомых мне авторов – Карамзин, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов. Но! Все книги были изданы при жизни писателей. С «ятями». Они выглядели иначе, пахли по-особенному. Чем-то средним между погребком с коллекционными винами многолетней выдержки, музейным запасником и кофейней. От них исходил умиротворяющий магнетизм вечности. Особенно от гвардейских рядов полных собраний сочинений с золотыми тиснениями на корешках. Стеллажи, стремянка и конторка из дорогих пород дерева, сработанные мастерами ушедшей эпохи, прочные, как скрепы пиратского корабля, пахли сандалом и нафталином. А на них в нерушимом державном порядке – собрания сочинений и разрозненные тома, подшивки журналов, авторы отечественные и переводные, известные мне и как бы воскресшие из небытия. Вот он – ковчег завета, который никто до меня не видел столетиями, а многие сомневались в его существовании. Я был перенесен в прошлое без предупреждения, без подготовки. И это прошлое было значительнее, таинственнее, величественнее, чем мне представлялось.

Изнутри казалось: весь дом построен из книг. Даже из-под клетчатого пледа, накрывшего кровать, точнее, топчан, выглядывали книжные полки. Топчан-полка стоял в книжном тупичке, окруженный с трех сторон стеллажами. И мне ясно, с силой пророческого видения представилось, как во время землетрясения тяжелые тома в кожаных переплетах погребают под собой спящего хозяина. Сам хозяин, живший среди книг, спавший на книгах, был частью этого книжного рая, эмана-

цией рыцарского духа Дон Кихота, посвятившего себя служению Ее Величеству Книге. Книги были везде. Подвесные полки, прикрепленные к балкам, сталактитами свисали с потолка. Книги были на кухне. В коридоре. Прихожей. Каждая ступень лестницы, ведущей на мансарду, продолжалась книжной полкой. Полагаю, и мансарда, где мне так и не довелось побывать, была частью библиотеки. Имелась в доме и вечно закрытая запретная дверь. Вела он в тайное хранилище наиболее редких и ценных книг. От этого старого дома из книг исходили уют и покой. Надежность бомбоубежища, в котором можно укрываться годы, переживая ядерную зиму. Само время теряло здесь властные полномочия. Бесшумная река преходящей жизни плавно обтекала этот омут вечности, и все самое ценное, что несла она, закружившись в водовороте, оседало здесь, как в ловушке для золота. Да, это был золотой карман для всего, что обременено тяжестью смысла. Трудно было придумать лучшие места, где могли бы собраться книголюбые.

Восторг, зависть и отчаяние испытывал я. Два первых чувства легко объяснимы и прощительны для начинающего собирателя библиотеки. Отчаяние же я всегда испытываю от вида тьмы книг при мысли, что никогда не смогу прочесть их все, будь у меня даже две жизни.

А когда я увидел рукописный манускрипт в веригах металлических застёжек, то потерял контроль над собой и забыл благие наставления Марьи Павловны прихватить с собой хлопчатобумажные перчатки и непременно надеть их, прежде чем коснуться почтенной книги, служившей чем-то вроде «Библии» при посвящении новичков в члены клуба. Я был потрясен и совершил роковую ошибку: самовольно снял с полки книгу, забыв о перчатках, лежащих в заднем кармане брюк. Осквернил святыню. Я был смущен оплошностью, полон раскаяния и стыда. Но было поздно. Хозяин по первому впечатлению уже увидел во мне варвара, не достойного ни звания книголюбца, ни его библиотеки. И в общем-то он был прав. Я был начинающим собирателем в первом поколении, не искушенным в тонкостях. Моя страсть к книгам была неразборчивой, юношеской. Знаете, есть грибники-аристократы. Они идут в лес исключительно для тихой охоты на боровики. Или рыжики. Или лисички. Или маслята. Я же собирал в свою корзину все подряд. Порой и поганки. Хотя уже и отличал грибы высшей категории от ядовитых двойников.

Я был атеистом, как и большинство моих сверстников, но впервые искренне обратился к богу. Если ты есть, о боже, сделай так, чтобы у Шульца была дочь. Некрасивая, хромая, горбатая, капризная, вздорная, от которой отказались все женихи на свете. А лучше всего, пусть она будет прикована к инвалидной коляске. И я непременно, как только получу паспорт, тотчас же сделаю ей предложение. В робкой надежде получить в приданое за нее эту библиотеку.

Бог не поверил в мою искренность. У старого Шульца никого и ничего не было, кроме деревянного дома, срубленного еще при царе, всклень набитого старыми книгами.

Когда члены клуба собрались и, шумно расточая остроты, расселись за прочным и почти круглым, похожим на срез пня трехсотлетнего дуба, столом, а хозяин торжественно, как олимпийский огонь, возжег керосиновую лампу под зеленым абажуром – о счастье! – мне не хватило липового чурбака. Аккуратно нарезанные и покрытые лаком, они служили стульями. В доме Шульца были только необходимые малогабаритные вещи. Возможно, как следствие аскетического характера

6

хозяина. Но скорее всего, все ненужное и бесполезное вытеснили книги. Как, впрочем, кое-что полезное и даже необходимое. Одно из окон, выходящее в сад, было наглухо забито картоном, а ниша его использована в качестве дополнительной секции полок. Рядом с книжным окном стояла старинная конторка с настольной лампой. Слава богу, не керосиновой. К этой конторке – шажок за шажком, бочком, бочком – я и причалил. Рассматривая корешки, я почувствовал себя археологом перед раскопками. Это были залежи древнеэллинской мудрости.

В тот вечер на заседание общества «Зеленая лампа» был приглашен живой писатель Максим Пресный. Человек всесторонне одаренный: физик, поэт, прозаик, альпинист, горнолыжник, аквалангист, фотохудожник, акварелист, охотник, рыбак, грибник, шашлычник. Уф! И это были не все его таланты. Судя по тому, как часто вставлял он в свои реплики «о'кэй» и «мэй би», был он еще и изрядным полиглотом. Как все известные и особенно неизвестные писатели-вольнодумцы того времени, он был похож на Хемингуэя. Изысканно прост в одежде и стиле, небрежно бородат, слегка хмелен и обаятельно циничен. Он читал главу из романа, над которым работал. Зеленоламповцы со вниманием слушали, предвкушая разбор. И по кровожадным лицам их легко было догадаться: Пресного ожидает трепка без сострадания и милосердия. И только Шульц постоянно отвлекался от текста. Косил на меня огненным взглядом ревнивца, опасаясь покушения на свою библиотеку. И даже когда переводил взгляд на писателя, уши его шевелились, обращаясь в мою сторону.

Признаюсь, я лелеял преступные замыслы. Не раз и не два появлялись у меня поползновения сунуть под ремень вожделенную книгу. Умыкнуть, как наложницу из гарема. Вот только не мог решить какую: «Избранные диалоги» Платона или «Избранные жизнеописания» Плутарха?

Однако воспитание и, главным образом, колючий глаз и чуткие жеребьячи уши Шульца помогли преодолеть искушение. К тому же на полках домашней библиотеки царил такой парадный порядок, что малейшее нарушение его сразу же бросалось в глаза.

Марья Павловна Тиренская предупредила меня заранее: Шульц никому не позволяет выносить книги из своей библиотеки даже на короткое время. Он не верит ни честному слову, ни поручительству, ни залогу. Ей самой было позволено взять домой «Алису в Стране чудес» только на третий год знакомства. И то лишь на день. Из всех книголюбов нашего города только два человека пользовались его абсолютным доверием, но оба к тому времени перешли в мир иной. Остальным читать можно было только здесь и сейчас под неусыпным надзором хозяина. Я же привык оставаться с книгой один на один. «Когда ты читаешь, – говорила мне мама, – лицо у тебя становится такое глупое, что лучше посторонним людям этого не видеть». Читать, чувствуя на себе настороженный кошачий взгляд, не очень-то приятно. Что за радость, если девушка приходит на свидание с папой или, того хуже, со старшим братом. Короче говоря, старый Шульц вел себя, как скупой рыцарь и Кощей Бессмертный одновременно. И мне оставалось лишь торопливо пожирать строку за строкой, травинку за травинкой из стога ароматного сена, скошенного с медовых полей Эллады, перетаптываясь стреноженным конем у конторки, моля бога, чтобы «Зеленая лампа» коптила как можно дольше.

Конечно, это было невежливо и даже вызывающе оскорбительно: читать «Апологию Сократа», игнорируя живого Максима Пресного и всех почитателей его.

Но в то время я не отличался большим тактом и, нарушая приличия, мог читать даже во время застолья на свадебном пире моей кухни, в которую некогда был влюблен по уши. Книжная жажда перебивала все.

Назвав в сердцах Шульца скупым рыцарем и Кощеем Бессмертным, я погорячился. В год нашего знакомства более всего он напоминал Дон Кихота в рыжей кольчуге свитера домашней вязки с протертыми локтями. Высокий, сутулый, с намечающейся плешинкой. По моим тогдашним представлениям, пожилой, но сохранивший румянец наивности. Для человека, которому не исполнилось и двадцати, все люди под сорок – старики. Возможно, он показался мне стариком еще и потому, что по дому ходил в больших самокатных валенках. А за окнами цвела сирень.

Пресный кончил читать. Искушенные в изящной словесности книголюбы тотчас же набросились на него сворой и стали рвать на части. Шум отвлек меня от книги. Девушка с прической и сверкающими очами Мирей Матье предпринимала робкие попытки защитить автора, но ей не удавалось втиснуться в полемику. Мне и самому было жаль автора, неосмотрительно доверившего свой роман и ранимую душу неблагодарным читателям. По библиотеке ключьями шерсти полетели цитаты из недописанного романа. Особенно старалась бритая наголо девица без явных признаков пола. Анастасия Добрая. Добрая – не псевдоним. Фамилия. Увы, как мне тогда показалось, не говорящая. Головка ее была так плотно набита цитатами, что там уже не оставалось места для собственных мыслей. Ее устами вещали духи почивших классиков. Цитатами усопших критиков Белинского, Добролюбова, Стасова и Страхова жалила она прозаика, так неосторожно впустившего книгочиев в еще недописанный роман. Даже меня раздражал менторский тон этой самоуверенной мышки. Но автор, закаленный встречами с читателями, скрестив руки молотобойца на мощном животе, с достоинством молчал, с каменным лицом страстотерпца переживая свою оплошность. Нельзя показывать недоношенное дитя. А тем более – еще не рожденное. Может и не родиться.

– А вы что думаете, молодой человек? – обратился Пресный ко мне, как бы призывая добить. – Вы, вы, с книгой у конторки.

– Я бы назвал вас гением. Но беда в том, что вы еще не умерли, – отвечал я. – Умрете, и все, не отходя от могилы, назовут вас гением. Могильный холмик будет соленым от слез.

– Как жалко, что я не смогу присутствовать на собственных похоронах. Вы пишете?

– Нет. Но у меня тоже есть вредная привычка. Я читаю.

Шулец посмотрел на меня с интересом. Мне даже на миг показалось, доброжелательно. В отличие от остальных завсегдатаев «Зеленой лампы» Шулец никогда – ни явно, ни тайно – не предавался греху сочинительства. Он жил в старом доме, бревенчатые стены которого скрывали поленицы из книг. У него не было времени писать. Все свободное время уходило на чтение и уход за книгами. День за днем, круглый год он пылесосил, сушил феном и обтирал фланелевой тряпчочкой, смоченной специальным раствором, книгу за книгой, полку за полкой. Так бригада маляров весь год, день за днем, красит Эйфелеву башню. Закончив, тут же начинает сначала. Эту библиотеку основал прадед, пополняли дед, отец. Она досталась ему в наследство. Как сокровищница. Как завещание. Часть семьи. Он не был собирателем. Он был хранителем.

Шульц не верил, что можно написать о чем-то, чего не было бы в книгах его домашней библиотеки. А главное – не верил, что можно написать лучше. И если Пресный объяснял свои литературные опыты стремлением бежать наперегонки с обезличивающим временем в надежде обхитрить его и хоть на немного продлить жизнь после смерти, то Шульц не боролся со временем, он старел без затей самым приятным образом – за чтением книг.

В этом отношении к книгам, несмотря на разницу в возрасте, мы были с ним похожи. Я не помню, когда и при каких обстоятельствах возникла моя страсть к чтению и кто подтолкнул меня к книге. Мама? Возможно. Хотя вряд ли. Она работала корректором в издательстве, специализировавшемся на выпуске учебной литературы, и так уставала за день от правки гранок, что дома и смотреть не могла без содрогания на книги. Тем более, что, воспитывая меня без мужа и постоянно нуждаясь в деньгах, за скромное вознаграждение часто редактировала по вечерам рукописи начинающих писателей. Особой любви к чтению это не прибавляло. И я понимаю ее. Только бестактный и жестокосердный человек способен подарить корректору на день рождения книгу. Пусть даже и с благодарственной надписью.

Но я помню свою первую самостоятельно прочитанную книгу. Тонкую, как учебническая тетрадь, книжицу для детей. Это была «Снежная королева» Андерсена. Порекомендовал ли мне ее кто-то или виной тому были цветные иллюстрации? Но потрясение было столь сильным, что даже сейчас при одном воспоминании о первом опыте дыхание мое перехватывает, как в детстве от качелей.

После обсуждения ненаписанной книги ко мне подошел Пресный, а следом за ним Шульц.

– Ты занимаешься альпинизмом? – спросил Пресный.

Шульц ничего не сказал, а стал хмуро разбирать стопку книг передо мной и ставить их, одну за другой, на место.

– Нет, – ответил я, досадуя на себя за новую оплошность.

– При подготовке альпиниста от него требуют выполнения принципа «четырёх П». Запомни. Эти «четыре П» подходят к любому виду деятельности. Ко всему, чем бы ты ни занимался. И к чтению тоже. Постоянство. Постепенность. Последовательность. Правильность на каждом этапе подготовки. Именно по этому принципу разложены книги этой библиотеки. И в частности, книги этой ниши. Начинай с нижней полки слева направо и поднимайся снизу вверх, полка за полкой.

Я повторил маршрут глазами. Сколько же времени потребуется, чтобы вскарабкаться на этот Эверест?

– Ты же не собираешься заучивать каждую книгу наизусть? – понял меня проныцательный Пресный. – И, ради бога, не запоминай цитаты. Вылущивай смысл – вот твоя забота. Смысл, как ты его понял, мысли, родившиеся при чтении, – это твое. Помни правило «четырёх П» и не спеши.

А хмурый Шульц добавил свой пункт к наставлениям писателя:

– Главное, ставьте всякий раз книгу туда, откуда ее взяли. Я надеюсь, у Вас нет варварской привычки загигать углы страниц?

И по тому, какими колючими взглядами одаривал он меня, разбирая образованный мной книжный завал, чувствовалось, что этим замечанием он не ограничится. И я не ошибся.

– Мой юный друг, вы очень некрасиво читаете. Вы читаете так, как голодный волк пожирает свою добычу: жадно, торопливо, заглатываете, не прожевывая, кусками. Да еще и по сторонам озираетесь, опасаясь, как бы кто не отобрал. Запомните, быстроглоты страдают несварением мозга. Читать надо неторопливо, с умиротворенной душой. Читать, как облака в ясный июньский день пролетают по синему небу над лесами, полями, городами, морями, пустынями. Как корова ест на лугу свежую траву. А потом, отдыхая, не спеша, пережевывает жвачку, – наставлял Шульц.

О волке он говорил ворчливо, с неприязнью, а о корове с большой нежностью. Уважительное «Вы» произносил с оскорбительной иронией.

Пресный поддержал Шульца:

– Читать надо не быстро и не медленно. Читать надо в своем темпе, как поднимаешься в гору, чтобы не запыхаться раньше времени. Читать надо со скоростью своей мысли. И привалы вовремя делать. Иначе – горная болезнь. Бежать в гору нельзя. Выбьешься из сил и не дойдешь до вершины. А дойдешь, никакой радости, никакого восторга не испытаешь. Вершина великой книги – это всегда зона смерти.

С этими словами Пресный пожал мне руку и надолго исчез из моей жизни.

Он ушел, оставив меня у подножья Эвереста, а я подумал, что бы это значило: читать со скоростью мысли? Я читал, как плоский камень, брошенный сильной рукой, скачет по поверхности озера – пропуская скучные куски текста, торопясь за событиями. Такая у меня была скорость мысли.

* * *

Библиотека Шульца околдовала меня. Я доходил до края коварства, чтобы завоевать расположение хозяина с тем, чтобы иметь к ней свободный доступ.

Мое бескорыстное предложение произвести генеральную уборку книгохранилища только усилило ревность Шульца. Он отклонил мой порыв с возмущением, как если бы я в его присутствии сделал неприличное предложение его невесте.

Я пустил в ход стенобитное орудие – лесть, восхищаясь редкостным подбором книг, невероятным соответствием картотеки с порядком на полках, но возбудил лишь новые подозрения.

Тогда я как бы ненароком завел разговор о книжных знаках. Предложил найти художника, который бы создал яркий, запоминающийся экслибрис для библиотеки Шульца. Дело в том, что книги его были проштампованы блеклым ярлыком, напоминающим обыкновенную круглую канцелярскую печать. В общем-то, это тавро, клеймо собственника и было печатью, изготовленной бог весть когда. Но Шульц был человеком традиции и с негодованием отверг мое предложение как покушение на память предков. Экслибрис для него был фетишем, а людей, коллекционирующих книжные знаки, он обзывал снобами.

От Марьи Павловны я узнал по секрету, что у Шульца, кроме «Зеленой лампы», было еще одно увлечение, достойное Дон Кихота. Будучи по образованию химиком, он втайне работал над созданием состава, опрыскивание которым делало бы бумагу несгораемой. И желательно оберегал бы ее от книжных червей и пожелтения. Шульц не хотел, чтобы редкие книги повторяли печальную судьбу свитков Александрийской библиотеки и «Слова о полку Игореве». Он мечтал о вечных книгах. Все исчезнет. Даже люди. А книги останутся. Очевидно, ожидая

пришельцев из космоса, чтобы рассказать им о достижениях в военно-технической области и судьбе землян, не поделивших пылинку мироздания. В назидание.

Опыты по созданию дешевой огнеупорной бумаги шли трудно. Задача была едва ли разрешима: превратить исходные горючие материалы в несгораемый конечный продукт.

Работал Шульц на дому, организовав в сарайчике лабораторию. Сарайчик несколько раз приходилось тушить. Дважды Шульц попадал в больницу, неосторожно вдохнув пары реактивов. Происшествия вызывали обоснованные подозрения участкового по поводу возможного самогонварения. Участковый тоже оказался книголюбом и в целом одобрил направление мыслей Шульца. Однако же, сочувствуя, грозил пальцем.

Вот когда я горько пожалел, что не уделял должного внимания урокам химии. Единственно, что я мог, так это предложить себя в качестве подопытного кролика при испытании воздействия экспериментальных составов на организм читателей. Я также пользовался каждым удобным случаем высказать публично свое восхищение замыслом и предрекал автору Нобелевскую премию. Шульц не поверил в мою искренность и воспринял все это как злую насмешку.

Впрочем, он был не далек от истины. В то время Шульц мне показался забавным пережитком прошлого, чем-то вроде Пана, скрывающего в своих валенках козлиные копыта. И только значительно позже до меня дошло, какое влияние на меня оказал этот человек. И при этом мы редко с ним беседовали. Если не считать ворчливые замечания хозяйина зеленой лампы в мой адрес, вообще не беседовали. Влияние не передается через слова. В этом главная беда педагогики. Слишком много назиданий произносим мы в суете, чтобы на них обращать внимание. От человека человеку передается нечто, что убеждает без слов, то, что заставляет любить или ненавидеть, ничего о нем не зная. Не от каждого, конечно. От многих ничего не передается, кроме скуки. Но встречаются люди, от которых так и пышет благодатью, как теплым хлебом из деревенской печи. Другой лучится необъяснимым гагаринским обаянием. От третьего несет благородной страстью или отталкивающим пороком. И это, минуя уши, проникает сразу из души в душу, из сердца в сердце. Душа, сердце... Слова, слова. Слов много, но трудно передать ими почти животное, инстинктивное притяжение личности. Для меня Шульц был кем-то вроде приведения из девятнадцатого века, духом библиотекаря Федорова, превратившего себя в соответствии с учением общего дела об оживлении всех мертвых в бессмертное духовное существо.

Мне не удалось добиться доверия и благорасположения Шульца, но, тем не менее, я занял свое место в клубе книголюбов.

Место у конторки перед стеллажом, на полках которого была собрана тысячелетняя мудрость человечества. Я не следовал принципу «четырёх П», а жадно, без всякой системы пожирал то, чего не мог найти в книжных магазинах и публичной библиотеке – Ницше, Шопенгауэра, Бердяева, Фрейда. Голод мой был неутолим. И как же я жалел, что зеленая лампа зажигается раз в неделю.

Больше других нравились мне затяжные поэтические вечера, когда вокруг зеленой лампы ночными мотыльками собирались длинноволосые желчные поэты и томные, волоокие поэтессы. Они подолгу, постанывая от самоудовлетворения, читали свои стихи. Если поэт не прочтет новые стихи, он просто взорвется. Пух! – и нет поэта. Лишь легкий вечерний ветерок уносит в вечность слабый аромат

сирени. Нет лучше способа отбить охоту к сочинительству стихов, чем видеть поэтов, читающих стихи поэтам. Начитавшись, они обсуждали творчество друг друга. В суждениях были две крайности: гениально и бездарно. А середины не было. Причем эти взаимоисключающие оценки адресовались одному и тому же стихотворению. Иногда к словам «гениально» и «бездарно» подбирались синонимы: «нетленка» и «перепевы».

В галдящем птичьем базаре юных гениев, откинувшись на спинку кресла вытянув ноги, скрестив руки и уронив голову на грудь, молчал обильно брадатый юноша Андрей Зубарев. Бронзовым памятником невозмутимости в центре разрушительного торнадо. Наполеоном, оседлавшим барабан, на поле битвы. Глаза прикрыты, борода скрывает ироничную улыбку. Когда его толкали в бок, призывая поддержать или опровергнуть, он отвечал не по существу: «Я человек отсталых, консервативных взглядов, я за “Домострой”. И вообще не местный». А причину своего безмолвного присутствия на «Зеленой лампе» объяснял тем, что он энергетический вампир и подпитывается энергией литературных скандалов. Однажды его вынудили прочитать свое. И он прочитал. Стихотворение начиналось так: «О чем шумим, друзья поэты?...» Оскорбил всех в перекрестную рифму, и больше к нему не приставали. Мы сошлись с ним на почве общего увлечения Зощенко, самого печального из веселых писателей. Сошлись в прямом смысле. Возвращаясь домой, затемно после посиделок у Шульца, часть пути мы преодолевали вместе. Пешком. Общественный транспорт к тому времени уже не ходил. О чем-то нужно было говорить. Почему бы не о Зощенко? Читаешь – смеешься, а чувствуешь неловкость и даже стыд. А вместе с тем жалость и сострадание.

Старый Шульц не любил ссор и предлагал на обсуждение популярных в те годы поэтов-шестидесятников – Вознесенского, Евтушенко, Сулейменова, Ахмадулину, Рождественского. Но и в этом случае не было середины. Шульц предлагал классиков – нет середины. Поэты спорили до хрипоты, до потери голоса. Время от времени Шульц восклицал: о вкусах не спорят! Все соглашались. Особенно охрипшие. Уныло кивали головами: да, имярек – гений. Но всегда находился оппонент, еще не потерявший голоса, доказывающий с пеной у рта, что имярек – графоман и попугайское гуано. Его стихами только бахчи удобрять. Кружка бензина выплескивалась на потухшие угли, и костер вспыхивал с новой силой.

Я вспоминаю лишь один случай, когда зеленоламповцы единогласно признали автора гением. Бритоголовая поэтесса принесла как-то самиздатовскую рукопись. «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева. Рукопись размножили, благо она была небольшой, и обсудили на следующем заседании. Рукопись потрясла поэтов, а многих вдохновила на новые стихи.

Обычно Шульц не высказывал своего мнения и лишь направлял дискуссию, когда она растекалась весенним половодьем в какие-то берега. Но на этот раз выступил. И выступил как мракобес. Он высказался в том смысле, что талант и даже гениальность автора не гарантируют появление великой книги. Недостаточно быть только честным и остроумным. В великой книге должен быть свет, хотя бы тусклый, и пусть слабая, но надежда, и не должно быть микробов гниения и разложения, передающихся читателям воздушно-капельным путем. Именно этим «Петушки» отличаются от книг классиков. Чем отличаются «Петушки» от прочих книг современных авторов? Современный автор средней величины выпускает первую книгу и покупает квартиру, издает вторую и покупает машину,

гонорары от третьей идут на приобретение дачи. После четвертой он достигает цели жизни, начинает зверски пить под предлогом, что кто-то не дает написать ему главную книгу, и становится алкоголиком. Величие Венедикта в том, что он нарушил принятый порядок вещей. Он прежде стал алкоголиком и только затем написал книгу. Могу ли я оставить эту книгу в своей библиотеке? Да. У меня есть специальная полка литературных курьезов.

«Зеленая лампа» взорвалась негодованием. Это было восстание против отца основателя, которое едва не закончилось свержением, если бы в последнем слове Шульц косвенно не признал себя ретроградом. Он сказал так: велика ли книга и насколько велика, определяют новые поколения читателей, современники автора, примеряя ее к себе, к масштабам своей души. То есть вы. Я же человек из прошлого, и по своим воззрениям современен разве что восемнадцатому веку.

Шульц расстраивался и сожалел о том, что клуб благородных книголюбов выродился по его недосмотру в клуб непризнанных поэтов и писателей. Нужно было при вступлении в общество с каждого нового члена брать письменное обязательство не писать стихов под угрозой пожизненного отлучения из клуба. А еще лучше – штрафовать нарушителей в размере месячного оклада для работающих. И в размере стипендии для учащейся молодежи. Самая читающая страна постепенно превращалась в самую пишущую. И это огорчало Шульца. Начинаящие поэты и писатели резко снижали читательскую активность, у них портился характер. Появлялась стойкая непереносимость к чужому успеху. Особо самоуверенным членам клуба он советовал перечитать Свифта, поскольку считал, что лучшего способа воспитать в себе скромность, чем чтение Свифта, нет. Разве что книги по астрономии. Он так и говорил: Свифта на тебя нет, мой юный друг.

Случалось, что в разгар особо ожесточенных дискуссий соседи приводили участкового выяснить, кого и за какую низость, несовместимую со званием человека, убивают. Участковый пришел раз, пришел два, а на третий стал членом клуба «Зеленая лампа» и зычным голосом ротного старшины перекрикивал даже поэтессу Саблину, известную как Шергинская Перепелиха, на который вскоре и женился.

Споры мне не мешали. Наоборот, всей душой желал я, чтобы страсти не остывали, чтобы потолок над зеленой лампой покрывался копотью до утра. Не скончаемые разговоры воспринимались мной как шум обложного дождя, под который так приятно читать. Единственно, чего я опасался, так это того, что в пылу спора будет опрокинута зеленая лампа, и огонь дискуссии перекинется на древнюю библиотеку Шульца.

В те годы моя страсть к чтению была чрезмерной, граничила с наркозависимостью. Я пожирал книгу за книгой, не насыщаясь. То и не беда, но я читал без системы, без отбора. Все, что попадало под руку. Не дочитав одну, начинал другую. Порой одновременно читал три и более книги вперемежку. Салатом. Бедный мой мозг, как он переваривал винегрет несовместимых текстов? К счастью, философская полка Шульца вкупе с кратким наставлением Пресного избавили меня от запойного чтения, от чудовищного голода, заставляющего меня проглатывать книгу за книгой по принципу самонаводящихся ракет: выстрелил – и забыл. Именно так легкомысленный человек читает легкомысленные книги. В каком ужасном преступлении я участвовал! В двойном преступлении. Как взятка, за которую судят и взяточника, и взяточдателя. За пустые книги судить надо обоих

– и автора, и читателя. Как за что? За растрату, убийство времени из хулиганских побуждений. Автора понятно. А читателя за что? За соучастие. Он питательная почва пустых книг. Провокатор. Он побуждает пустого человека сочинять пустые книги. Товарищи судьи, покарайте меня по всей строгости закона. Хотя раскаяние мое вряд ли вернет мне утраченное время.

Авторы этой полки приучили меня к неспешности, открыли удовольствие отрываться от книги и погружаться в свои мысли. Научили читать и размышлять одновременно. На равных беседовать с автором. Раньше я стремился как можно быстрее дочитать книгу. Теперь же мне не хотелось, чтобы книга заканчивалась. Я научился перелистывать страницы не только справа налево, но и слева направо. Останавливаться и возвращаться. Поворачивать стрелу времени вспять. Книга для меня стала машиной времени. Какова она и есть на самом деле. Во всяком случае, для путешествий в прошлое.

Оторвавшись от увлекательной беседы с великим мертвецом, но еще не оторвавшись от мыслей, я, бывало, отвлекался на шум литературного спора и некоторое время не понимал, где я и что за люди с зелеными лицами в яростном негодовании перебивают друг друга, доказывая, что именно его заблуждение единственно правильно. Когда же приходил в себя, возвращался в свое время и был в состоянии различать слова, недоумение охватывало меня: боже, о каких пустяках спорят люди! И даже совсем не о литературе. Встряхивал головой и поспешно возвращался к прерванной беседе с молчаливым автором, погружаясь в книгу, как в теплое спокойное море вечности.

* * *

В поэтических спорах, помимо юноши Андрея, не участвовал пожилой стихотворец и приверженец учения дао, похожий на Далай Ламу, Нассреддин Ходжаев. Уютно устроив громадную голову шарпея в мягких ладонях и прикрыв веками глаза, под аккомпанемент интеллектуального спора он сочинял стихи. Полные губы его сладострастно шевелились, по сократовскому лбу крутыми волнами вдохновения ходили морщины.

Поэт и знаток литературы, он занимал большой чин, но не порывал давних связей с «Зеленой лампой». Служебные обязанности его были неопределенного свойства, и должность именовалась соответственно: второй помощник. У него был отдельный кабинет в большом доме, в который нельзя было войти без пропуска. И выйти, разумеется. Его обязанностью было читать газеты и журналы. В том числе и литературные, подписаться на которые можно было только за особые заслуги перед прогрессивным человечеством. В армии по этому поводу сказали бы: не служба, а романтика. Весь день за рабочим столом он только тем и занимался, что просматривал районную, областную, республиканскую и союзную прессу, чтобы подготовить краткую справку для очень большого и очень занятого начальника: о чем пишут вообще, на каких идеях и проблемах заостряют внимание, какие вопросы требуют неотложного решения. В таком духе. Одновременно с прочтением десятков газет и журналов, Ходжаев, сверяясь с программой, смотрел постоянно работающий телевизор и прослушивал радиопередачи.

И при этом успевал писать за тем же рабочим столом стихи. Каждый день по стиху. Ежегодно выходил в свет его очередной поэтический сборник. Стихи

были совершенны, как бильярдные шары. Они как бы не были написаны, а сразу напечатаны с ведома начальства. Такие правильные, что в них невозможно было найти ни подтекста, ни скрытых смыслов. На них, подмигивая, намекал автор в беседе с глазу на глаз.

На посиделках у зеленой лампы Ходжаев отдыхал от суеты и суматохи информационного ада будней.

Как ему удавалось совмещать стихотворчество с марафонским чтением газет? Был секрет, но он его не раскрывал. Отвечал туманно: все возможно при желании. Улыбался загадочно, доброжелательно и ясно, как улыбается отлитый из золота Будда.

По мнению Шульца, он был гением.

По мнению братьев поэтов – плутом.

По-моему, истина, как всегда, посередине: Нассреддин Ходжаев был гениальным плутом.

Но завистливые поэты, большинство из которых еще не испытало радость издания первой книги, не признавали середину.

В те годы, чтобы заработать талоны на дефицитную литературу, я, как и многие книголюбы, собирал макулатуру. И меня очень интересовала судьба газет, прочитанных Ходжаевым.

Он отвечал кратко:

– Подшиваю.

– А нельзя ли...

– Что ты, старик, все подшивки сдаются в архив. Там у них с этим строго.

Меня умиляло это «у них». Человек работал, получал неплохие деньги, отдыхал в престижных санаториях, имел доступ к дефицитным продуктам и товарам, квартиру, был вхож в закрытые книгохранилища и книжные склады. И все это – «у них».

Очень удобно для диссидента, каковым он себя искренне считал. Впрочем, может ли в принципе быть оппозиционером адепт учения дао?

В те годы большими тиражами издавалось много правильной поэтической макулатуры, но и она пользовалась спросом. Мы жили действительно в самой читающей стране. Человек, едва устроившись в поезде, самолете, уцепившись за поручень в трамвае, тут же раскрывал книгу и утыкался в нее. Читающий человек беззащитен, как токующий глухарь. Но особого воровства в общественном транспорте не наблюдалось. Возможно, потому что советские карманники были тоже самыми читающими в мире? Как вариант. Да, книги воровали, или, как изящно выражались сами похитители, зачитывали. Явление это, к прискорбью, было массовым. Но это отчего-то преступлением не считалось. Возможно, потому что государство чувствовало свою вину за неудовлетворенный спрос населения на духовную пищу. Роман-газета, литературные журналы были лимитированы, то есть невероятно огромные тиражи их были все-таки ограничены. Государство тоже можно было понять: тайга большая, но не бесконечная. Вот почему макулатуру собирали все. И дело не только в особой сознательности граждан. Была и корысть.

За сданную макулатуру выдавали талоны на приобретение дефицитных книг. Талоны были разовыми. То есть использовать их можно было однажды и в определенный день.

Ты пришел, полный надежд приобрести нечто вечное. А тебе на разовый талон предлагают все тех же «Трех мушкетеров». Но, отстояв очередь в квартал, ты их, конечно же, берешь, в надежде обменять на что-то более содержательное.

И обращаешься к человеку, особо чтимому среди книголюбов-макулатурщиков. Он знал все: кто какую книгу ищет и что готов предложить взамен. А кто просто без затей готов обменять свой талон на денежные знаки. Человека этого всегда можно было найти после обеда в сквере возле ТЮЗа. Он сидел на скамейке у фонтана и кормил семечками воробьев, отгоняя узловатой палкой жирных голубей. Человек был в пенсионном возрасте, имел грузную фигуру Санчо Панса, страдал отдышкой, при ходьбе опирался на палку, но все, даже школьники, звали его Борей. И это ему нравилось. Боря знал всех или почти всех владельцев личных библиотек, был коротко знаком с директорами и продавцами книжных магазинов города, со всеми букинистами. Он обладал феноменальной памятью на имена, номера телефонов и обходился без записных книжек. Сводить людей для обмена книгами к взаимному удовольствию было его призванием. Имел ли он корыстный интерес? Вряд ли. Боря занимался этим хлопотным занятием по склонности характера на общественных началах. Полагаю, как и Теодор Шульц, был он одинок. Занятие это замещало ему смысл жизни. Жажду общения. Боря просто хотел быть нужным как можно большему числу людей. Необходимым. Незаменимым. Слабость, которой, к счастью для человечества, страдает большинство людей.

Прошу прощения, подшивки Ходжаева отвлекли меня от основной темы. Возвращаясь к «Зеленой лампе», скажу, что Шульц со временем по привычке к моему присутствию. Ко всему привыкают. Даже к мышинному шороху под полом. Стараясь не вызывать излишних подозрений, я оставался в поле зрения Шульца, навсегда заякорившись у конторки возле философских полок, свято соблюдая правила обращения с раритетами. Порой лицо хозяина при взгляде на меня омрачала тень досады. Но обхлопывал и обнюхивал меня при прощании он не так старательно. Хотя и бдительности не терял.

Однажды Шульц даже поделился со мной испытанным на себе способом воспитать хороший литературный вкус. Секрет был прост, но требовал усилий.

– Читайте, – говорил Шульц, – классиков полными собраниями сочинений. Прочтите, допустим, всего Тургенева. Или всего Чехова. Читайте, ни на что другое не отвлекаясь. Читайте месяц, два, полгода. День отдохните и медленно перечитайте, допустим, «Степь». Смакуя, наслаждаясь. А потом раскройте книгу (он назвал фамилию одного из современных прозаиков), и если после первой страницы вы испытаете рвотный инстинкт, у вас появляется хороший вкус.

Оказавшая мне протекцию Марья Павловна говорила с доброй улыбкой:

– Я знала, что вы подружитесь. Два книголюба всегда найдут общий язык.

Увы, Марья Павловна заблуждалась. Но она навела меня на самую коварную из всех коварных затей. Однажды в моей голове созрел зловещий замысел. Я решил женить Теодора Шульца на Марье Павловне Тиренской.

Добрейшая Марья Павловна была поэтессой и старой девой. За рассеянность и странные наряды за глаза ее звали Чучундрой. Она не замечала реальности, чему способствовало слабое зрение, и жила внутренней, я уверен, духовно богатой жизнью. Ходила по улицам, никого не замечая, и шептала, сочиняя в ритм шагов, стихи. Иногда ходила ямбом, иногда хореем, случалось, дактилем и амфибрахи-

ем. Могла и гекзаметром. Порой походка ее напоминала александрийский стих, порой онегинскую строфу. Как до сих пор под трамвай не попала – непонятно. Объяснить это чудо можно только яркостью нарядов поэтессы и особой бдительностью водителей нашего города.

Но человеком она была милейшим. У нее тоже была своя домашняя библиотека. Собирала в основном поэтов Серебряного века и стихотворцев, близких им по духу. В отличие от сурового Шульца, была сострадательна и доверчива. Давала почитать книги под честное слово первому встречному, сказавшему доброе слово о Бальмонте, а тем более об Игоре Северяnine. Библиотека ее сжималась, как шагреновая кожа. Расползалась по чужим квартирам. Но Марья Павловна свято верила в человеческую порядочность и продолжала считать давно зачитанные книги своими.

В мечтах я представлял скорое объединение двух библиотек.

В этих мечтах Шульц и Марья Павловна жили одним домом. И верховодила, конечно же, супруга, позволявшая мне посещать библиотеку в любой день и даже уносить с собой книги.

Я рьяно принялся за сводничество. При каждой встрече обращал внимание Шульца на несомненные достоинства Марьи Павловны, делая ударение на ее альтруизме, покладистом характере и кулинарных талантах. Ах, говорил я с вожделием, какие замечательные морковные котлеты готовит на пару Марья Павловна и какие дураки некоторые старые холостяки, не замечающие талантов этой редкой женщины.

Морковные котлеты вегетарианец Шульц любил. Но не терпел табака вообще, а в особенности курящих женщин.

Марья Павловна, напротив, и часу не могла прожить без курева. Причем предпочитала не легкие дамские сигареты, которых отечественная табачная промышленность, помнится, вообще не выпускала, поскольку общественность считала курящую советскую женщину за нонсенс. Курила она папиросы «Север», крепкий, злой дым которых отдавал бараками, ватниками, кирзовыми сапогами и слегка портянками. Называла она их «гвоздиками». Нет, не цветы. С ударением на «о», от слова «гвоздь».

Не так-то легко быть свахой.

Но это был единственный ее недостаток. Как я надеялся, исправимый.

Внимание Марьи Павловны я обращал на хозяйственность и порядочность Шульца. Но особенно напирал на вечно протертый на локтях старый свитер. Ах, говорил я, если бы такому редкому мужчине да понимающую, заботливую спутницу.

Давил на жалость и сострадание.

Параллельно со скрытым сватовством я подсовывал Марье Павловне брошюры о вреде курения и затевал разговоры о верных способах бросить курить.

И преуспел.

Во всяком случае Марья Павловна предпринимала явные попытки покончить с губительной привычкой. Разумеется, в присутствии Шульца я восхищался силой воли Марьи Павловны и прозрачно намекал на причины ее подвига.

Редкий мужчина не оценит жертву, принесенную женщиной ради него. Я ликовал, замечая, как все чаще они переглядываются и все теплее улыбаются друг другу.

Но все пошло прахом, когда в размеренную, хотя и шумноватую жизнь хранителя древней библиотеки и председателя «Зеленой лампы» рыжехвостой кометой ворвалась Сауле, балерина местного театра юного зрителя.

А привел ее в клуб книголюбов, представьте себе, я. Свел нас Боря для обмена книгами. Ну, обменялись – и до свидания. Однако недремлющий черт дернул за язык не только рассказать ей о «Зеленой лампе», но и предложить свести ее с изысканным обществом интеллектуалов.

Старый Шульц купил желтый пиджак в зеленую клеточку, оранжевый галстук-шнурок и красные пижонские носки. Отрастил шкиперскую бородку. Стал каждое утро бегать трусцой по терренкуру. В его ветхом доме, где не было места предметам роскоши и безделушкам, появился экспандер на пружинах, гантели и пудовая гиря. Очень странно они выглядели, не сочетались с безмолвием старых книг и светом зеленой лампы. Особенно нелепо смотрелся пульверизатор, размером с велосипедный насос, присоседившийся к толковому словарю Даля.

Вначале перемены меня не насторожили. До меня стало доходить, что план мой потерпел крах, когда я узнал, что домосед Шульц сделался заядлым театралом и не пропускал ни одного спектакля ТЮЗа, в котором была занята Сауле. Пусть даже в кордебалете. Ради этого однажды было отменено даже заседание «Зеленой лампы»! Я вдруг с ужасом увидел, что старый Шульц не настолько стар, как мне казалось прежде, а Марья Павловна при всех ее человеческих достоинствах и поэтических талантах как женщина не идет ни в какое сравнение с Сауле.

Мои планы рассыпались в прах. Все стало окончательно ясно, когда однажды Марья Павловна по привычке назвала Шульца Федей, а он холодно поправил ее: Теодор.

Тео – так обращалась к нему Сауле.

К моему огорчению, Марья Павловна, окончательно разочаровавшись в мужчинах, снова закурила. Пуще прежнего. Со мной говорила без прежней душевности – сдержанно, а порой и надменно. Без особого повода и объяснений потребовала срочно вернуть Хлебникова. А вскоре перестала появляться на заседаниях «Зеленой лампы».

Я, в корыстных целях напрасно обнадеживший Марью Павловну на закате ее женственности семейным счастьем, был подавлен. Чувствовал себя провокатором. Не находил себе места. Пытаясь загладить вину, хотел, оторвав от сердца, подарить ей Уитмена. Но она сказала, что Уитмен у нее уже есть. Таким ледяным тоном, что было странно, как изо рта ее не пошел пар. И по тому, как гордо при этом вскинула голову, как сверкнули ее глаза за толстыми линзами очков, я понял: солгала. Нет у нее Уитмена.

Я попытался в корыстных целях поближе сойтись с Сауле на случай, если она станет хозяйкой в доме Шульца.

Шульц меня неправильно понял.

Он был ревнив не только к книгам, внезапно помолодевший Шульц. Отелло в сравнении с ним был образцом терпимости и доверчивости.

Беда в том, что и Сауле неправильно истолковала мои намерения.

И именно в этот момент из библиотеки Шульца пропали «Бесь». Так совпало, что накануне именно я листал эту книгу. Боюсь потерять уважение и понимание читателей всего мира, но Достоевского, признаюсь, ценю, но не люблю. Чтение его

романов вызывает у меня головную боль и депрессию. Я бы и близко не подошел к этой роковой для меня полке. Но у Бердяева встретилось мне размышление о Великом Инквизиторе, и захотелось обратиться к первоисточнику. К тому же надо было уточнить цитату. Вот она: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых “передовых” говорю, которые всегда спешат прежде всех (главная забота) и хотя очень часто с глупейшею, но все же определенной более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда попадает под команду той малой кучки “передовых”, которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается».

Для чего понадобилось мне это пророчество близкого крушения самой читающей страны мира, не помню. Кажется, для разговора с Андреем Зубаревым. Выписал и поставил на место.

Обнаружив в идеально ровном ряду книг зияющую, подобно выбитому зубу, пустоту, Шульц тут же назначил виновным меня. Так быстро, что у меня возникли подозрения, а случилась ли вообще эта кража? Все случающееся вовремя вызывает размышления.

Шульцу не терпелось отлучить меня от дома. Нужен был веский повод. И повод нашелся тотчас же. Прости меня, боже, если я не прав.

Я был с позором изгнан из общества книголюбов «Зеленая лампа». Мои клятвы в собственной невинности были тщетны. Шульц и слушать меня не хотел. Он не требовал вернуть книгу, он просто не хотел меня видеть:

– Никогда, слышите, никогда не переступайте порог этого дома.

Он так и не перешел в разговорах со мной на «ты».

Обиднее всего, что я был принесен в жертву напрасно. Вскоре после моего изгнания из рая закончилась ничем и последняя любовь Шульца. Внезапно. В одну секунду. Вот как, по свидетельству очевидцев, произошло крушение любви. Сауле на глазах Шульца сняла с полки особо чтимую им книгу. Мало сказать, без почтения. Сняла походя, как выхватывают домохозяйки пачку лапши быстрого приготовления с полки продуктового магазина, и раскрыла небрежно, с треском, как раскрывают дамскую сумочку.

– Фу! – воскликнула она при этом с брезгливой гримасой. – Сколько пыли! У меня аллергия на бумажную пыль.

Шульц пошатнулся и побледнел, но Сауле, не замечая его предобморочного состояния, продолжала:

– Сколько же отпечатков пальцев оставили, должно быть, на ее страницах люди за сто лет. Теперь я понимаю, для чего надевают перчатки, читая старые книги. Для того же, для чего носят медицинскую маску во время эпидемии гриппа.

Все еще можно было обратить в шутку. Красивым женщинам еще не то прощают. Но тут она зажмурилась, наморщила носик, порывисто вдохнула воздух и звонко чихнула. Прямо в раскрытую книгу. Трижды. А отчихавшись, сказала:

– Надо избавляться от ковров и старых книг, этих пылесборников.

Вбила, сама того не заметив, осиноый кол в могилу несостоявшейся любви.

Шульц постарел мгновенно. Он испытывал жгучий стыд перед старой книгой. А поведение и слова Сауле воспринял как личное оскорбление. Пелена спала с его глаз. Он увидел восхитившую его при первой встрече молодую женщину чудных пропорций в холодном свете истины: она не любила книги. Совершенства в этом мире нет. Форма не всегда соответствует содержанию. Шульц прозрел, и любовные чары рассеялись.

На следующее заседание «Зеленой лампы» он снова обул пимы и облачился в старый свитер, на локти которого заботливая Марья Павловна успела наложить кожаные заплаты до того, как Шульц охладел к ней.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте? Есть, друзья, есть.

* * *

Домашняя библиотека Шульца стала для меня недоступна. Но я не мог не думать о ней. Чем недоступнее, тем желаннее. В этом суть всякой несчастной любви. Иметь такую библиотеку стало если не смыслом жизни, то уж навязчивой идеей – точно.

Мне пришло в голову купить ее. На что? На студенческую стипендию? Иногда в голову деревенского пастуха приходит идея предложить руку и сердце принцессе. Сказки утверждают, что при этом возможна взаимность. Я знал книголюба, который обменял свою «Волгу» на библиотеку всемирной литературы. И я бы мог поступить так, не колеблясь. Но ни денег, ни машины у меня не было. У меня даже приличной квартиры, куда бы можно перевезти книги Шульца, не было. Я бы согласился обменять на книги даже мамину двухкомнатку, но где держать тогда библиотеку?

Среди моих знакомых был Денис Бурлаков, старший брат одноклассника. Работал он бригадиром золотодобытчиков на «северах».

Если бы Чарльз Дарвин увидел его, мы бы сейчас были уверены в том, что человек произошел от медведя. Причем бурого.

Золотодобыча – работа сезонная. Зимой Денис Бурлаков катался на горных лыжах и кутил в ресторанах. Книги не читал.

Зачем человеку столько денег и свободного времени, если ему не нужны книги?

Нет ответа.

– Сколько лет нужно проработать на приисках, чтобы заработать на хорошую домашнюю библиотеку? – спросил я Дениса, добившись у него аудиенции по протекции приятеля-одноклассника.

– На библиотеку? – задумался он. – А сколько она стоит?

– Ну, не меньше «Волги», – прикинул я, – может быть, и больше.

Золотодобытчик Денис Бурлаков наморщил лоб и посмотрел в потолок. Долго хлопал губами, загибал пальцы и, все подсчитав, ответил:

– Смотря на какой прииск попадешь. Ты в механике разбираешься? Бульдозером управлял? На экскаваторе работал? Грузовик водил?

– Могу пойти на курсы водителей. В конце концов, с ломом и киркой управляюсь.

– Специалисты такой высокой квалификации не требуются. А ты, кстати, лом подымеешь? А сколько раз? Толчком или рывком?

Атлетом я не был. В шкаф, который звался Денисом Бурлаковым, влезло бы три таких хилыка, как я. Еще бы и место для гири Шульца осталось. Но я был полон решимости повторить путь Джека Лондона и добыть-таки на северах библиотеку Шульца.

Мое желание умилило Дениса и настроило на философский лад. Он спросил:

– Зачем тебе домашняя библиотека? Иди в Пушкинку и читай, сколько влезет. Какая польза в домашней библиотеке? Убей, не пойму. Если честно, я, кроме учебников, ничего не читал. И, представь себе, не умер. Не вижу я пользы в книгах. Один вред. Пустое брожение ума. Вот посмотри на себя. Ты их, поди, тысячи прочитал. И что? Квартиры у тебя нет. В мамкиной живешь. Машины нет. Дачи нет. И не будет. Девушка есть? И девушки нет. А теперь посмотри на меня. Я считаю: книга – роскошь и баловство. После школы я ни одной не прочитал. Навредило мне это? В твоём возрасте я уже имел квартиру в центре. Машина у меня есть. Теплый гараж с ямой. Дача. Упакован до конца жизни. Баб больше, чем ты книг прочитал. Что сказал товарищ Ленин? Товарищ Ленин сказал: из всех книг важнейшая для нас сберегательная.

Я вынужден был согласиться с Денисом: да, для отдельного человека книга может ничего не значить. Но человечество в целом живет ради постоянного пополнения библиотеки, большого, всемирного хранилища знаний, опыта, научных открытий. И не будь этой библиотеки, не было бы в бригаде у Дениса ни бульдозеров, ни экскаватора, ни вездеходов. Даже лома с киркой не было бы. Сожги все книги до одной, лиши людей письменности – и что бы было? А ничего не было бы. Ни науки, ни образования, ни истории, ни самого человечества. Ни квартиры у Дениса, ни машины, ни дачи, ни горных лыж. Одни бабы остались бы. Люди жили бы, как живут остальные существа. Как коровы, комары и мыши полевки. Они живут только потому, что родились. И я спросил Дениса, для чего он живет? Для чего вообще рождается ребенок, слабое, безъязыкое существо? Не для того ли, чтобы стать человеком? Единственным существом, способным к чтению и творчеству? На этом бы мне и остановиться, но меня понесло, и я обобщил сказанное, заявив, что человек без книги, человек без библиотеки для меня не совсем человек. И, помолчав, добавил в том смысле, что без золота нормальный человек обойдется, а вот без книг ему не прожить.

– Вот и договорились, – посмотрев на меня с сочувствием, прервал философский диалог Денис Бурлаков, – читай свои полезные книжки, студент, а я буду бесполезное золото добывать для страны. Вакансий в моей бригаде нет. У нас конкурс на место больше, чем в институт международных отношений. Специалисты высокой квалификации, умеющие управлять ломом, не требуются. Без обид.

1993-й

– Обрато покойника повезли, – опершись о метлу, с философской отрешенностью заметил дворник Михальч.

– Это как? С кладбища домой? – спросил я.

– Все бы тебе шутить, Тимур Русланович, – укорил меня он и, переведя взгляд с катафалка на небо, вздохнул озабочено: – Как бы обратно дождь не пошел. С утра хмурится.

Я не стал уточнять странное направление дождя, игнорирующее земное притяжение, и перевел разговор на занятие дворника.

– Опять книги палишь, Михалыч? Ой, смотри – по следам коричневой чумы идешь.

– Чума и есть чума. Ты думаешь, книгу легко сжечь? – востепенулся дворник и охотно поделился опытом: – Книгу жечь тоже с умом надо. Брось кирпичом – ни за что не разгорится. А ты ее каждую одуванчиком разверни, тогда она и без керосину полыхнет. А уж как разгорится, только успевай подбрасывать. Что книги, что другой хлам. Если, конечно, дождь не польет.

Во всех дворах полыхали костры из книг.

Книги жгли не из идеологических или религиозных соображений. Это не было осуществлением мрачного пророчества Рэя Брэдбери. Жгли вместе с другим мусором, скапливающимся у помоек, поскольку денег на вывоз отходов у городских властей не было.

Проблема утилизации – и ничего более. В этом-то и был весь ужас. Никакого злого умысла.

Но у человека, чья душа наполовину состояла из прочитанных им книг, возникало скверное чувство, будто на этих кострах сжигают и его.

– Погоди, Михалыч, жечь. Дай посмотреть.

– Да хоть все забирай – мне заботы меньше. Много нынче книг на помойку выбрасывают. Народ, как таракан травленный, по границам побежал. Все книги с собой не увезешь, вот и валят в кучу. Других у меня дел нет, как книги на дым пускать. Жалко, макулатуру больше не принимают. Сдал бы – вот тебе и, считай, вторая зарплата. Тем более, первую третий месяц не выплачивают. Невидимая история, конец света. Хотя свояк мой Степаныч нашел пользу в книгах. Большую пользу. У него, смотри сюда, свой дом в пригороде. Печное отопление. Он этими книгами всю зиму печь топил. Большая экономия на дровах, что ты! Те же полешки, только жарче горят. Если ум приложить, во всем можно свою пользу найти.

* * *

Вот так оторвешься от книги, а на дворе другая эпоха. Никто не борется за светлое будущее всего человечества, а напротив того, передовая часть населения с остервенением накапливает первоначальный капитал. Грабит усердно национальное богатство. И человек человеку не друг, товарищ и брат, не кум и не сват, а такой конкурент, что спиной к нему не повернись.

В тот год, когда развал страны дошел до пика, я ходил по дворам и выхватывал из огня книги.

Надо сказать, что редкие книги выбрасывали на помойку не так часто.

Их несли в букинистические магазины, количество которых значительно возросло. Полки были забиты раритетами. Связанные бечевкой собрания сочинений ставили на пол. «На попа». Для большей вместимости. В тот год собрать библиотеку из редчайших книг можно было за день. Но я ходил по букинистическим магазинам, как по музеям. Карманы мои были пусты. Такими и должны быть карманы безработного. И чувствовал я себя осенней мухой, ползающей между стекол оклеенного окна. Обидно, дико быть безработным в стране, где это явление прошлого ликвидировали более полувека назад. Все равно как заболеть чумой.

Мир перевернулся. Самыми уважаемыми людьми стали бандиты и проститутки, не считая, конечно, деятелей культуры, публично сжигавших свои партбилеты в прямом телеэфире. Писатели, недавние властители дум, небожители, были низвергнуты до положения блаженных, занимающихся для собственного удовольствия бесполезным занятием. Сродни вышиванию крестиком и прочими извращениями, неприличными мужчине.

Как же так, обижались они на читателя-изменника, это же мы неумоимо бодались с дубом, это же мы, эзопы современности, исподволь подгрызали корни его. И вот дуб рухнул. Но где же твоя благодарность и наши гонорары? Не сошел ли ты с ума? Нет ответа. Нет читателя. Только что был и вдруг испарился. Куда же он, чьей страстью питалось племя сочинителей, исчез? Осунувшиеся, понурые инженеры человеческих душ собирались в редакциях обнищавших безгонорарных журналов и писали коллективные челобитные новым властям, прося подать милостыню в обмен на заверения восславить героев новой эпохи. Удобрить, так сказать, своим творчеством новый, еще слабый, пруток демократии и свободы.

В опросе, проведенном газетой по поводу того, надо ли правительству спасать срочно писателей и каким образом это сделать, мне встретилась знакомая фамилия. Максим Пресный, презирая профессиональную солидарность, с отчаянием самоубийцы вырулил на встречную полосу. Он отвечал на вопросы редакции с достоинством, переходящим в гордыню: «Я никогда не унижусь до попрошайничества. Я не нанимался у правительства писать книги, и правительство, к которому, кстати, я не испытываю большой любви, не обязано содержать меня в качестве нахлебника за счет обездоленных. Если литературный труд не кормит меня, значит, надо найти другое занятие. Книги пишутся не для заработка. У них другие цели. Власти не обязаны подкармливать писателей, как бабушки подкармливают оголодавших голубей в парке. В такие времена, как наши, позорно отрываться от народа и дезертировать в башню из слоновой кости. Если писатель не считает себя частью страдающего и униженного народа, с какой стати народ должен считать его своим писателем? В тяжелые времена писатель должен переживать вместе со своими читателями все невзгоды, бедствия и несправедливости, а не вымалывать себе особые условия и привилегии. Если, конечно, писатель не беспомощный инвалид. Власти обязаны заботиться о детях, стариках, больных и инвалидах, которые бедствуют и вымирают по их милости. Власти обязаны заботиться о читателях, то есть обо всех гражданах страны. Долг властей – обеспечить население достойной, хорошо оплачиваемой работой, нормальными условиями существования. И когда правительство выполнит свой долг, вот тогда живущий в человеческих условиях, хорошо образованный, имеющий свободное время читатель позаботится о писателях, покупая книги. Я надеюсь, он выберет достойные книги».

Увы, книги, редкие книги не раскупались. Часть книголюбов были унесены из города ветром перемен. Для части поголовное увлечение книгами было просто модным поветрием. И когда модным стало не читать, они и здесь не отступили от моды. Часть, пользуясь моментом, расталкивая сограждан локтями, устраивалась поудобнее в новой жизни. Но большинство просто голодали. Иные переселились на кладбище. Первым пропал Боря. Макулатуру не принимали. Исчезли небожители, талонные очереди. В его услугах никто не нуждался. И Боря исчез за ненужностью. Возможно, умер. Распалась «Зеленая лампа». И я вынужден был согласиться с золотодобытчиком Денисом Бурлаковым. Без книг можно прожить

Хотя, что это за жизнь? Страна разваливалась на глазах. Но для меня ужаснее всего были горящие свалки книг на помойках.

Стою я однажды в букинистическом магазине, листаю «Историю экслибриса». Нахожу между страниц закладки: старую открытку (поздравление с Новым 1971 годом), конфетную обертку «Каракумы», засушенный лист клена, эдельвейс, карандашный набросок. Трогательные приметы прожитой кем-то жизни. Думаю о хозяине. На такой книге обязательно должен быть наклеен книжный знак. Есть «Из книг Вячеслава Любича». Я знал этого красивого, высокого человека с гривой льва и осанкой патриция. Мы часто встречались у книжных развалов. Художник. Книжная графика, карикатура. Именно к нему я обращался с просьбой создать для библиотеки Шульца книжный знак. Где он сейчас?

Я смотрел на сложенные как попало рассыпающиеся штабеля бумажных кирпичей, и мрачные мысли приходили в голову: люди избавляются от книг. От того, что составляет лучшую их часть. Так бегущая с поля битвы армия бросает в панике знамена, оружие, доспехи. Все, что мешает спастись бегством. В этом поспешном избавлении от книг было что-то унижающее человеческое достоинство.

И слышу знакомый голос из прошлого:

– Столько замечательных книг, а на душе так тяжело. Да, покидает нас интеллигенция, иммигрирует душа города.

Я едва губу себе не откусил, пытаясь сдержать эмоции. Так точно передали они мое настроение. Оглядываюсь – Марья Павловна Тиренская. Старое пальтишко. Мужские ботинки. Берет а-ля Че Гевара с намеком на достоинство без надежды. Очки, вдвое увеличивающие размеры глаз. Милая Чучундра, как же рад я видеть тебя!

– Дома те же. И люди вроде бы в них живут. Только совсем другие. Как ракушки с сомкнутыми створками. Скучные, замкнутые люди, не читающие книг. Чужие люди. Дома без души. Смотришь на знакомые окна, а зайти в гости не к кому, – говорит она, не узнавая меня. – Такой большой магазин, такие редкие книги, а покупателей – вы да я. Да и то сказать, какие мы покупатели... Посмотрите, какое роскошное издание. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей», «Ночной полет». Не купят. Книги, особенно хорошие книги, никому сейчас не нужны. Вы тоже из отъезжающих?

– Нет, Марья Павловна, я из остающихся. Некуда мне уезжать. Здесь буду вымирать.

Она пристально смотрит на меня огромными глазами инопланетянки, спрашивает неуверенно:

– Тимур? Это вы?

Я киваю головой. Она берет мою руку и прижимает к своей щеке. Мы молчим, вспоминая «Зеленую лампу».

– А я вот собралась уезжать. Да все откладываю. Не могу пристроить свою библиотеку. Часть отнесла букинистам – не распродается. Попомните мое слово: скоро все букинистические магазины закроются. Хорошие книги, за которые мы готовы были заложить саму душу, сейчас просто товар. И товар неходовой. Хотела отнести в библиотеку. Она у меня под боком, в соседнем доме. Очень удобно. Можно книги на руках перенести. Прихожу, а библиотеки нет. Салон красоты, массажный кабинет, сауна...

– Далеко уезжаете?

– Далеко. Очень далеко. В родные, так сказать, палестины. Вы не возьмете мою библиотеку?

Все поэты Серебряного века, нравившиеся мне, уже стояли на моих полках, и я, отрицательно покачав головой, посоветовал:

– А вы оставьте ее в подарок новым жильцам.

А сам, поставив себя на место Марьи Павловны, подумал: вряд ли владельцы книг сами относят их на помойку. Большинство из них, съезжая с квартиры, скорее всего, просто оставляют книги. А уж новые владельцы без особых сожалений и переживаний очищают комнаты от ненужных им пылесборников. Да еще и ворчат, поди, при этом.

Я посмотрел в огромные глаза Марьи Павловны и понял, что мысль, внезапно озарившая меня, давно не была для нее откровением.

Поговорили. попрощались. Жили мы по маршруту одного трамвая, но в разных концах города. Стоя на задней площадке своего трамвая, я смотрел вслед с грохотом и звоном удаляющемуся трамваю Марьи Павловны. Вот и еще один человек навсегда исчезает из моей жизни. Умирает для меня. Душа его навсегда покидает город. И я становлюсь для нее прошлым. И тоже для нее умираю.

Холодный дождь переходил в ледяную крупу. Мокрый, промозглый город окружал меня. Город без души, населенный нечитающими людьми. Во дворах у мусорных баков превращались в бумажное месиво, в раскисшее папье-маше книги. Книги, которые не успели до дождя сжечь дворники. Заканчивалась эпоха книголюбов.

Я никуда не уехал. Не потому, что был патриотом. Я думал о переезде. Но каждый раз меня останавливала моя домашняя библиотека. Я не мог выбросить ее на помойку.

Марья Павловна была права. Вскоре после ее отъезда букинистические магазины стали закрываться один за другим, пока на весь город не осталась одна лавка древностей. Обнищавшие книголюбы раскладывали свои потрепанные временем книги, подстелив под них старые газеты, прямо на тротуарах в тщетной надежде выручить немного денег на пропитание.

И настал день, когда я, человек, созданный для одиночества, впервые почувствовал нечеловеческую тоску одиночества, от которой не спасали даже книги.

* * *

Случилось это в день, когда Денис Бурлаков, начинающий предприниматель, позвонил мне. Он купил под алкомаркет помещение библиотеки в нашем районе. Добротное здание, построенное еще при царе. Каменное, с подвалами, сводами, колоннами, оцинкованной крышей. Все это в обезьяньей традиции новых хозяев жизни будет обезображено евроремонтом. Тогда все продавалось, включая детские сады и ясли. Он позвонил мне, вспомнив о моей юношеской мечте иметь домашнюю библиотеку. Ну, Тимур, где твоя команда? Все книжки почитываешь? Смотри, все на свете прочитаешь. Оторвись от книжек. Сейчас время делом заниматься. Приватизировать недвижимость. Цезарь дал три дня на разграбление. Подсуетись. Время уходит, скоро лафа кончится. Потом локти будешь кусать. Книги нужны? Приезжай и хоть все забирай.

Я приехал через день после звонка. Книги были уже выброшены во двор. Перед каждой из двух входных дверей – две громадные, осыпавшиеся под своей

тяжестью пирамиды книг. Редкие книголюбы осенними мухами ползали по этим лавиноопасным горам, с пресыщенным видом гурманов ковыряясь в их недрах. Едва я присоединился к ним, как разразился очередной осенний ливень. Холодный, беспощадный, он разогнал собирателей, и только один водонепроницаемый старичок, прикрывшись потерявшим форму черным зонтом, похожим на крылья летучей мыши, ворошил бадиком разбухающие от влаги кирпичи книг. Время от времени он наткался на ценный экземпляр, встряхивал его и, отерев носовым платком, прятал в «ермак» – большой туристический рюкзак с алюминиевым каркасом. Ливень усиливался, и, наконец, героический старичок сдался стихии. Он ретировался под козырек дверного навеса, где стоял я.

– Мерзавцы! Фашисты! Ворюги! – ругался в бессильной ярости последний из книголюбов. – Мало им было страну развалить, заводы разорить, колхозы разогнать. Нет. Этим поганцам еще и душу надо растоптать.

Это в переводе на русский. Выражался он менее литературно. Но это было к месту, и я его не осуждал.

Ливень между тем усиливался. Он продолжался долго. Старик, обессилив от гнева, замолчал, и мы, впав в прострацию, смотрели, смотрели, смотрели, почти не мигая, как вода заливает книги, как просачивается между них ручейками и растекается лужей из-под отсыревших бумажных пирамид. У старичка не было сил ругаться. Но время от времени он яростно мотал головой, после чего зло и горько плевался. Так в безмолвной ярости прошел час, и старичок, не дождавшись окончания ливня, ушел. На слабых ногах, сгибаясь под тяжестью рюкзака, набитого сырыми книгами. Намокшие брючины плотно прилипли к тоненьким косточкам ног. Зонтик окончательно потерял форму, и старичок был похож на большую летучую мышь, потерявшую способность к полету. Внезапно появилась в моей жизни и навсегда исчезла родственная душа.

Скоро и я стану никому не нужным старичком и исчезну. И мою домашнюю библиотеку, книги, с которыми я провел столько незабываемых часов, беседа с мудрейшими людьми планеты, живыми и мертвыми, вот так же выбросят на помойку под дождь. Если, конечно, Михалыч не подсуется и успеет сжечь ее до непогоды. А по недогоревшим томам будут бродить бездомные собаки, приносясь и перелистывая лапами страницы в поисках пищевых отходов.

Я смотрел на костры из книг, пылающих во дворах, на черные хлопья обуглившихся листов и все чаще вспоминал Теодора Шульца. Я думал об одиноком человеке, тратящем скудные сбережения на дорогие книги и препараты, необходимые для изобретения несгораемой бумаги. О человеке, который видел смысл жизни в бессмертии книг.

Я думал о том, как хрупка жизнь. Как легко можно уничтожить интеллигентного человека и умную книгу. Листы книги не прочнее листьев дерева, желтеющих, опадающих, превращающихся в прах. Переиздание книг – не похоже ли это на ежегодное обновление листьев старого дерева? Если по весне не появятся листья, дерево засохло. Если не будут переиздаваться великие книги, страна повторит судьбу Атлантиды. Погрузится в пучину мракобесия и забвения. Горели книги вместе с другим мусором, корбились в огне и чернели листья, по которым бегали молниями искры, превращались в голубой пепел. В прах. Горели герои книг, мысли, чувства, мечты, открытия, озарения и заблуждения, вопросы, на которые еще никто не ответил. Распадались на дым и

пепел. Заканчивалась великая эпоха книголюбов. Умирала и распадалась самая читающая страна на планете.

Я достаю записную книжку и в который раз вычеркиваю из нее номера телефонов уехавших и умерших друзей «Зеленой лампы». Осталось всего несколько невычеркнутых. И один зачеркнут карандашом. Это телефон Шульца. Вычеркнул я его сразу после изгнания из «Зеленой лампы». А карандашом, потому что след от графита легко стирается. Я надеялся: пройдет время, «Бесы» найдутся, и Шульц сам позвонит. Извинится. Обида моя давно прошла. Стерлась. Как-то бы надо позвонить самому. Должно быть, давно переехал на историческую родину. Странное это сочетание – историческая родина. Родина, в которой не родился. А город, в котором родился человек, какая родина? Внеисторическая? Номер телефона Андрея Зубарева. Этот юноша нравился мне старообрядческой бородой, сдержанностью, мягким интеллигентным сарказмом и редкой для поэтов склонностью к логическому мышлению. Давно мы с ним не встречались. Лет десять, наверное. Где он сейчас? Жив ли?

И в эту же секунду впервые за год зазвонил, напугав меня, телефон.

Звонил Андрей.

Потрясенный совпадением, я не сразу поверил в это.

Мы поговорили на языке приличия об обычных для таких случаев темах. Вопросы, на которые не обязательно отвечать. Ответы, которые не обязательно слушать. Пока разговор не дойдет до причины звонка.

– Мы сегодня Шульца хороним. Приедешь?

После таких слов можно сказать только глупость. И я сказал:

– Шульц умер?

– Естественно. С чего бы хоронить живого Шульца.

– Что случилось?

– Пожар. Сгорел вместе с домом.

– А библиотека?

– Дотла.

* * *

Хоронили Теодора Шульца в мерзкую погоду. В закрытом гробу. То, что от него осталось. А осталось немного. Часть его стала дымом. И унесло этот дым воздушными потоками неизвестно куда. Возможно, в Германию, куда его настойчиво приглашали родственники. Часть Шульца обуглилась. Превратилась в пепел. Пепел Шульца, смешанный с пеплом книг его древней библиотеки, Андрей Зубарев собрал в полиэтиленовый пакет, чтобы высыпать на гроб вместо обычной в таких случаях горсти земли.

Мы, жалкие тени от погасшей навсегда «Зеленой лампы», могли укрыться одним зонтом.

И не было благодати в месте последнего упокоения. Сырой, промозглый день. Ледяной дождь. Телесная и душевная дрожь.

Хлопоты по организации похорон и расходы на них взял на себя Андрей Зубарев. Человек с бесстрастным ликом старообрядца, стесняющийся поэтического прошлого как тайного греха.

Когда в одночасье рухнул старый, казавшийся незыблемым миропорядок и почва ушла из-под ног, он ради благополучия семьи принес на алтарь рынка свое

творчество. Занялся челночным бизнесом. Вывозил из Китая и реализовывал на барахолке товары первой необходимости. И преуспел. Настолько, что вскоре открыл несколько точек, которые со временем преобразовались в сеть магазинов. Он был умен, расчетлив, хладнокровен, знал свое место, соблюдал все правила, предписанные властями, хорошо понимал потребности и возможности горожан. Все это обрекло его на успех. Обеспечив сносное существование семье и близким, не заметил, как увлекся делом. И даже почувствовал что-то вроде вдохновения. Назад пути не было. Да и больших сожалений по временам «Зеленой лампы» он не испытывал. Считал, что поступил правильно, как и должен быть поступить на его месте любой мужчина, знакомый с чувством ответственности. Но в глазах его появилась тоска. Где грань между жертвой во имя и предательством самого себя? Есть вопросы и попроще.

Подгоняемые дождем, мы хоронили Шульца без слез и долгих речей. В спешке. Скучно. Скользя по раскисшей глиняной почве. Поеживаясь, кутаясь в шарфы, шмыгая носами и безуспешно пытаясь унять дрожь от промозглой сырости. Над разверстой могилой, заливаемой дождем, Андрей сказал короткую прощальную речь. О бескорыстном, жертвенном служении Книге. Об идее несгораемой бумаги, которая сгорела в пожаре вместе с автором. Свет зеленой лампы этого подвижника навсегда останется для нас путеводной звездой на пути к совершенству.

Как-то так.

И вытряхнул на мокрый гроб из черного пакета с надписью «Алкомаркет» пепел сгоревшей библиотеки. А следом, скомкав, бросил и пакет.

Оставив Шульца в мокрой земле, мы на иномарке Андрея возвращались в город. Такой же серый, плохо приспособленный к жизни, как и кладбище.

Поэтесса Добрая, третий участник похорон, поддавшись меланхолии, сказала с душевной болью:

– А ведь совсем недавно мы были самой читающей страной в мире.

– Мы были чересчур читающей страной, – мрачно поправил ее Андрей, пытаясь унять озноб.

– Что ты имеешь в виду? – встрепелась Добрая.

– Мы слишком много читали в ущерб делу. Мы жили в книгах, а жизнь презирали, как плохую, скучную литературу. Жили в книгах, а жизнь читали. Причем методом быстрого чтения. Бегло пролистывали. Позевывая, – зло пояснил свою мысль Андрей. И по тому, как четко формулировал он ее, можно было догадаться, что родилась она у него не экспромтом.

– Мы читали хорошие книги, – возмутилась Добрая и посмотрела в мою сторону, ища поддержки и сочувствия.

Слова Андрея и мне показались абсурдом. Но я промолчал, желая дослушать диалог до конца.

– Даже слишком хорошие, – охотно согласился Андрей.

– О чем ты? – недоумение, протест и возмущение смешались в голосе поэтессы.

– Мы погружались в хорошие книги, как в сон. Мы жили иллюзиями и верили в иллюзии. Да, прекрасные иллюзии. Но они отвлекали нас от жизни. Порой нужно отвлекаться от книги и заниматься устройством своей жизни. Или ее устройством займутся другие. Те, кто не читает хороших книг. Жили мы, жили в самой читающей стране, почитывали хорошие книги... И где теперь та стра-

на? Хорошая книга хороша лишь в том случае, если она помогает делать жизнь лучше. А мы жили лишь для того, чтобы читать. Читали ради самого процесса чтения. Дочитались.

Андрей говорил спокойно, но лицо у него было как у человека, страдающего изжогой. Я и сам почувствовал во рту горечь полыни.

– Какими вы стали злыми и циничными, – оскорбилась Добрая, отвернувшись от нас, и обратилась за сочувствием к своему отражению в окне: – Как жаль, что нельзя вернуться во времена «Зеленой лампы».

Добрая – не псевдоним. Фамилия. С возрастом все более говорящая.

Не согревшийся Андрей ответил холодно, с долей нервной злости:

– Глупо жалеть о том, что уже прошло и чего не вернуть.

Добрая обиделась и хмуро уставилось в окно, заливаемое дождем. А Андрей продолжал злыми, рублеными фразами:

– Да, глупо. Так же глупо, как волноваться о том, что еще не случилось. Но все равно случится. И пройдет. Все пройдет. Все станет прошлым. Не о чем жалеть. Надо просто нести свой крест. По возможности смиренно.

Философия не новая. Безнадежно мрачная. И, увы, верная.

О чем жалеть? Даже солнце погаснет.

Но я жалел. Жалел сгоревшую библиотеку Шульца. В отличие от нас, смертных, она могла существовать века. А успей Шулец создать свой эликсир и окропить им книги, возможно, и вечно.

– Шулец не был собирателем. Он был хранителем. Он не сохранил. Потому и умер. Жаль, – сказал я.

А Добрая добавила:

– Дон Кихот в потертой кольчуге ветхого свитера.

Достала из сумочки блокнотик и записала фразу.

– Да, – согласился согревшийся Андрей, – у него была одна страсть. Страсть к книгам. Ведь он не любил никого и ничего, кроме своих книг. Эта страсть сделала его крепостным, рабом своей библиотеки. Представьте себе одинокого старика в холодном доме, отключенном за неуплату от света, газа, отопления. И этот полуголодный старик в рассыпающемся, проеденном молью свитере весь день только тем и занимается, что сдувает пыль со своих фолиантов, протирает их тряпочкой, смоченной в растворе, должном защитить бумагу от плесени и книжных червей. Эта страсть и сожгла его. В буквальном смысле. Я не спорю, его жизнь – подвиг, но...

– Извини, Андрей, ты просто завидуешь ему, – не дала договорить Добрая. – Человек до конца оставался верен себе. В отличие от нас.

– Может быть, может быть. Человек, умирая от голода, не продал ни одной книги, чтобы прокормиться. Не напрасна ли его жертва? Ты же не будешь спорить, если скажу, что время библиотек прошло?

– Конечно, буду.

– Во всяком случае, домашних. А еще точнее, бумажных. Скоро все книги переведут в цифру. Свою библиотеку я ношу в кармане. И в ней со временем будет не меньше томов, чем было в доме Шульца. Ты, конечно, возразишь, что планшет не идет ни в какое сравнение с живой книгой. А я не спорю. Да, есть минусы. Пока. Но уже есть и плюсы. Найти нужную книгу – секунды. Устали глаза – втыкай наушники, слушай. К тому же для цифровых книг не нужно вырубать леса.

– Вырубать все равно будут. Найдут для чего.

– Ты же не будишь отрицать очевидное. Моя библиотека не требует помещений, ее не надо протирать, пылесосить, от нее не несет затхлостью, книги не плесневеют и, кстати, не горят. Вот вам и решение проблемы, над которой всю жизнь бился Шульц. Чтобы книги не горели, надо избавиться от бумаги. Нет проблемы. А чтобы перевести мою библиотеку на другую квартиру, в другой город, страну, да хоть на другую планету, не надо тратиться на контейнеры, не надо волноваться за сохранность в пути. Положил в карман и – счастливого пути. Представляете, каждый может иметь доступ к одной всемирной библиотеке. Хотим мы этого или не хотим, время бумажных книг заканчивается. И в этом случае не надо искать виноватых. Книга была и будет всегда. Просто она видоизменяется. Книга была даже тогда, когда не было письменности. Были такие люди – рапсоды – они носили свои библиотеки в голове, в своей памяти. Появилась письменность – рапсоды исчезли, появились книги. На смену бумажным книгам приходят электронные. Но «Илиада» на всех носителях – «Илиада». Электронные носители заменят чем-то другим – «Илиада» останется «Илиадой».

Я молчал, не вмешиваясь в разговор. Мне хотелось быть на стороне поэтессы Дорной. Но что я мог возразить Андрею? Он был прав: этот планшет с плоским экраном, способным вместить в себя всю сгоревшую библиотеку Шульца, – будущее книги.

И до меня с холодным прозрением свершившейся неизбежности дошел ужасный смысл события.

Сегодня вместе с Шульцем и горстью пепла мы похоронили домашнюю библиотеку. Все домашние библиотеки. Как идею. Как явление. Как образ жизни. Мы – вымирающее племя собирателей бумажных книг. За нами нет никого.

Так думал я поздней осенью 1993 года, уставившись на скребки дворников из последних сил со скрипом очищающих лобовое стекло от липкого ледяного дождя. Что поделаешь. Прогресс. Смирись, старик. Утри сопли. Надо жить дальше.

Единственно, с чем я не был согласен с Андреем – Шульц не был рабом библиотеки. Старый книжник Шульц был счастлив с ней. Он любил книги. Невозможно быть рабом того, кого любишь. Книги были для него одушевленными существами. Возможно ли такое отношение к текстам на электронных носителях?

Я вспомнил, как он касался корешков книг. Так касаются волос любимой женщины, так гладят по головке ребенка. Он нежно раскрывал книгу, и суровое лицо аскета делалось беззащитным, наивным, добрым. Он не читал, он вкушал, причащался с блаженным лицом Алеши Карамазова, склонившегося над «Житиями святых».

Под скрип дворников, словно переворачивающих страницу за страницей, я вижу старого Шульца. Вот он зажигает осиротевшую зеленую лампу. Не ту, заковыченную, с большой буквы «Зеленую лампу», на свет которой мотыльками слетались юные поэты, молодые писатели и просто книголюбыв ушедшей эпохи, а просто керосиновую лампу, единственный источник света в холодном доме.

Один в своей библиотеке, книги которой написаны мертвецами о мертвецах для поколений еще не родившихся мертвецов. Но стоит ему раскрыть книгу, и случается привычное чудо воскрешения. Материальная книга хранит в себе нематериальные души героев, бессмертную душу автора. И, встретившись с живой

душой Шульца, они воскресают. Такие же молодые и свежие, как в день создания. Прошлое оживает. Оживают души вымышленных героев. Они восхищают, радуют и сердят его, пробуждают мучительный дар сопереживания. И автор, бессмертная душа великого мертвеца, беседует с ним на равных. С глазу на глаз. Порой он радуется совпадением мыслей. Порой злит близорукостью. И Шульц спорит с ним, соглашается, досаждает и восхищается.

Но больше всего его злят уставшие глаза, которым уже не помогают толстые линзы очков. И он с ужасом думает о том дне, когда зрение откажется служить ему.

– Он мог бы уехать в Германию, – прервала мои видения Добрая.

– Не мог, – ответил Андрей.

– Почему? Все-таки историческая родина.

– Его родиной была его библиотека. Он не мог бросить ее.

– Мог бы перевезти.

– Не мог.

– Мог бы передать в надежные руки. Подарить, в конце концов, – с долей осуждения предлагала варианты Добрая.

– Кому? В твоём дворе не жгут книги?

– Жгут, – печально отвечала поэтесса.

– Он хотел подарить библиотеке на Пушкина. Там заведующей была Рахметова.

Ты должна знать ее по «Зеленой лампе».

– Почему не подарил?

– Не успел. Здание выкупил коммерсант. Ему нужно было срочно отремонтировать его под офис. Книги просто выбросили на улицу. Что-то унесли по домам библиотекари, что-то подобрали букинисты. Книголюбы поковырялись. А остальное рабочие облили бензином и подожгли. И вот представь Шульца у этого костра. Удивительно, что у него сердце не разорвалось. Во всяком случае, желание дарить отпало. Он твердо решил хранить свое сокровище до лучших времен.

– Наступят ли они?

– Мое мнение ты знаешь. Но кто знает, кто знает.

– Неужели во всем городе не нашлось человека, кому можно было бы доверить библиотеку? Я бы свою, допустим, подарила тебе. Или лучше Тимуру.

– Тимуру? А где бы он ее хранил?

– Он мог бы подарить ее вместе с домом. Завещать, в конце концов, государству, – не сдавалась Добрая.

Андрей посмотрел в зеркало и хмыкнул:

– Ты до сих пор пишешь стихи. Угадал?

– Ты намекаешь на мой возраст? – снова обиделась Добрая.

– Ни на что я не намекаю. Я просто хочу сказать, что поэты непрактичны и не в ладу с реальностью. Да и характер Шульца нужно знать. Только смерть могла разлучить его с библиотекой. Он сросся с ней насмерть.

Андрей припарковался у первого кафе, встретившегося по пути от кладбища, пустого по случаю мерзкой погоды. И мы помянули Шульца. Я и Добрая «Русским стандартом», Андрей, поскольку был за рулем, – кофе.

– Это я виновник его гибели, – сказал он, хмуро уставившись в черный омут чашечки, источающий южный аромат.

Мы промолчали. Но глаза наши требовали объяснения.

– Шулць имел одну странность. Он любил читать при керосиновой лампе. Свет ее создает атмосферу замкнутого пространства, ностальгического уюта. Настроение, соответствующее его библиотеке. Ему нравился запах керосина. Он возвращал его в детство. Шулць в последнее время часто вспоминал, как ребенком вместе с другими детьми стоял в очереди у керосиновой лавки. Если керосин долго не завозили, они оставляли вместо себя бидончики или камушки, а сами бежали искупаться в Весновке. Как-то я заехал к нему, а он попросил меня до-стать ему керосин. Но не нынешний авиационный, без запаха, а тот, что когда-то продавали в керосиновых лавках. Каждый ностальгирует по-своему. Зачем тебе, спрашиваю, керосин? Счета оплачены, электричество подключено. Однако привез ему двадцатилитровую канистру керосина. Того самого, с запахом. Не привез бы, Шулць до сих пор бы сдувал пыль со своих книг. Хранил он канистру под столом. Видимо, заснул над книгой, опрокинул лампу и...

– Сгорел в костре из редких книг, – закончила за него Добрая.

Достала из сумочки блокнотик и записала фразу.

– Нельзя представить Шулцьа без его библиотеки. И библиотеку без Шулцьа. Они действительно слились в одно целое. Их нельзя было разделить на две части, – сказала Добрая. – Помните гримасу Шулцьа, когда у него просили дать на время книгу? Как если бы просили отрезать кусок мяса от собственного тела. Шулць и библиотека были единым существом. Человекокнигой. Книгочеловеком. Книжным кентавром.

Добрая замолчала и склонилась над записной книгой.

И мы разделили ее молчание, размышляя об одном и том же. О символическом смысле пожара, в котором погибло последнее мифическое существо – человек-книга, кентавр, которого нельзя было рассечь на составные части, не погубив. Великий читатель, поставленный перед выбором, не мог отделить себя от Великой книги. Что такое читатель без книги? И что книга без читателя?

Ничего не происходит случайно. Случайно ли «Зеленая лампа», лишившаяся читателей, стала причиной пожара?

И внезапно я понял ужасный смысл книжных костров у мусорных баков.

Люди, избавляясь от книг, сжигали свои души. Они избавлялись от своей лучшей половины, как от обузы прошлого, не позволявшей им перешагнуть через запрет стать хищником. Преуспеть означало стать оборотнем. Людоедом, готовым пожирать своих ближних. Книги сжигали, как совесть, как детские и юношеские представления о справедливости. Без того, чтобы не унижить книгу, не посмеяться над книгой, не заклеить ее как нечто пустое, бесполезное, лишнее, ненужный хлам, нельзя было переступить черту. Да, был выбор. Ты мог не отказываться от своей души, не предавать книгу и стать пищей для людоедов. Слабаком, не сумевшим стать передовой сволочью. Червем, не сумевшим стать Сверхчеловеком. Расчеловечить – принудить человека отказаться от книг. Относиться к чтению, как к никчемному, легкомысленному занятию. Иначе как убедить воспитанного, порядочного человека, что нужно стать волком, что людоедство – единственно правильный путь к свободе?

Никто не проговаривал это для себя с полной определенностью и ясностью. Никто сам не поджигал свои книги. Да, их выносили под покровом темноты или в ранние утренние часы на помойку, как слепых котят, не находя в себе сил самим убить их. Забывали в оставляемых квартирах.

Брошенные книги как бы самовозгорались.

И, облегчившись от ноши, обременяющей совесть, бывшие книголюбы приступали к растаскиванию общего пирога, к тому, что они не без лицемерия называли первоначальным накоплением капитала. Когда конкистадоры разоряли индейские храмы и переплавляли священные реликвии в слитки, когда пираты брали на бордаж тяжелые от золота каравеллы, они не лицемерили и не говорили, что занимаются первоначальным накоплением капитала. Они просто грабили. И не стеснялись называть себя грабителями. Насколько же эта сволочь, эти отребья человечества были честнее наших олигархов.

Мысли были горькие, оскорбительные для времени и, возможно, несправедливые. Причиной их, скорее всего, были кладбищенские впечатления, мерзкая погода и «Русский стандарт». Я не стал их высказывать вслух.

* * *

На месте пожарища, в котором был кремирован Шульц, я был спустя три дня после похорон. Долгий дождь кончился, и на перенасыщенную влагой землю повалил большими хлопьями снег, укрывая безобразие осени.

Дом из высохших за столетие циклопических бревен, дом, до отказа набитый книгами, сгорел дотла. Тяжелый запах гари пробивался через первый снег от уже остывшего холмика.

– Знатно горело. Хорошо, ветра не было. Так бы весь наш курмыш и запыхал.

Я оглянулся. Женщина в мужской шапке с настороженным любопытством выглядывала из-за забора. В руках, как плакат, скребком вверх держала она фанерную лопату, отороченную жестью.

– Что твой пионерский костер трещало, пламя столбом, – завладев моим вниманием, продолжала она, – светло, как днем было. И гул. Волчий вой. Мороз по коже. Натерпелись страху. Жалко соседа. Тихий человек был, вежливый. Чтобы прошел и не поздоровался, такого не было. Вы ему кем приходитесь?

– Знакомый. А тушить не пытались?

– Да разве ж ведерками потушишь? А пожарникам звонили. Как не звонить. Только они на такие пустыки теперь не выезжают. Горючего у них нет. Да у нас это не первый пожар. Быстрее сгорим, меньше с нами хлопот.

Я не стал поддерживать разговор, и соседка принялась сгребать снег, продолжая рассказывать о ночном пожаре. Жесть с ожесточением скребла дорожку, выложенную камнем.

Давно я здесь не был. Старый пригород трудно было узнать. Среди домов с резными наличниками, с патриархальными дымами над трубами, палисадниками и фруктовыми деревьями добротными боровиками повыврастали дворцы в два уровня, невероятную роскошь которых скрывали высокие заборы в стиле восточной деспотии.

Поковырявшись штакетиной в слежавшемся пепле, я наткнулся на виновницу пожара – антикварную керосиновую лампу, произведенную даже не в прошлом, а в позапрошлом веке. Стекланный абажур ее спекся от жара в уродливый ком, отдаленно напоминающий янтарь с вкраплениями посторонних веществ. Я отер лампу от грязи и долго рассматривал ее. Хотел бросить – и не смог. Я надеялся найти уцелевшие в пожаре книги. Но у пепелища остановился джип. Из него вышел новый

хозяин участка – человек в красном пиджаке, фигурой и походкой напоминающий борца сумо, а следом – буднично элегантный мужчина, в котором легко угадывался архитектор. Человек в красном пиджаке спросил крайне недружелюбно, что мне здесь нужно. Я ответил: все, что мне было нужно, и все, кто был мне нужен, сгорели. Он поинтересовался, кто я такой. Назвавшись Пуаро, я покинул пепелище, прихватив с собой лампу. И долго два человека смотрели мне в след. Один с тупым подозрением. Другой с интеллигентной, сочувствующей улыбкой.

* * *

Я не знаю даты рождения Шульца. Но хорошо помню день его восхождения на костер из книг.

К первой годовщине печального события я отреставрировал лампу. Восстановил недостающие детали, подобрал фитиль, стеклянную трубу. Нашел на толкучке абажур. Правда, не зеленый. Желтый, как березовый лист осенью.

Позвонил Доброй. Пригласил посидеть у лампы Шульца, восставшей из пепла. Она, сославшись на мигрень, отказалась. Я позвонил на домашний телефон Андрея. Трубку подняла дочь и сказала, что папы нет в городе.

Вечером в одиночестве я зажег лампу и долго смотрел на язычок пламени.

Я думал о старом книжнике, не представлявшем свою жизнь без библиотеки. О времени, которому библиотеки не нужны. О великих книгах, которые не будут прочитаны. И о великих книгах, которые не будут написаны, потому что великим книгам нужны великие читатели.

И чем дольше я смотрел на трепещущий язычок пламени, тем сильнее чувствовал присутствие Шульца. Я не мог да и не хотел избавиться от наваждения: моими глазами пристально вглядывался в живой огонь Теодор Шульц.

Одинокая, тоскующая душа бедного Шульца оживала во мне.

Душа, которая разрывалась надвое.

На пороге дряхлости и старческой деменции одинокий человек был склонен поддаться на уговоры родственников и переехать в Германию. Но это означало расставание с библиотекой, которой он отдал свою жизнь. Библиотека и была его жизнью. И не было впереди просвета. А был лишь костер из книг, выброшенных вон из библиотеки на Пушкина.

С невероятной ясностью – это было не предположение, а глубокое убеждение – меня озарило: пожар в доме Шульца не был несчастным случаем. Это было самосожжение.

Последние минуты жизни великого читателя увидел я так ясно, как если бы сам был Шульцем. Вот он зажигает зеленую лампу, раскрывает свою последнюю предсмертную книгу, но смотрит слезящимися глазами не на ее страницы, а на язычок пламени, который с каждым вечером становится все тусклее. Он наливает в граненый стакан сгнувшей эпохи хлебного вина, сиречь водки. Да, я уверен: непьющий Шульц в свой последний вечер выпил. В куче пепла рядом с лампой я нашел явные тому свидетельства. Я не знаю, и никто теперь не узнает, о чем или о ком думал в последний час хранитель старых книг. Ностальгировал ли по ушедшей эпохе книголюбов, печалился ли о необратимости времени, вспоминал ли завсегдатаев «Зеленой лампы», мерещился ли ему увиденный накануне костер из книг. Я могу лишь предположить, что душа его была неспокойна, что им овладело отчаяние и безысходность.

Читал ли он за минуту до пожара книгу? И что это была за книга? Какая угодно, но только не «Бесы». Мне бы этого очень не хотелось.

И лампа была опрокинута. Случайно ли?

Скажите, пожалуйста, какой здравомыслящий человек – а Шульц был немцем, хотя и советским, и в здравомыслии, пунктуальности ему нельзя было отказать, – какой здравомыслящий человек держал бы под столом, на котором горит живой огонь, канистру с керосином? И вспыхнула бы мгновенно закрытая канистра?

Чем дольше и пристальней смотрел я на язычок пламени, тем сильнее сгушался темный нимб вокруг него. Нимб разрастался, погружая во мрак все пространство, включая и меня. Неужели книга становится таким же атавизмом, как эта керосиновая лампа, без которой можно, да и нужно, обойтись? Я закрыл глаза. Но язычок пламени все также трепетал в темноте. Нет, книга – не лампа. Книга – сам свет. И неважно, чем будет источник света.

Для чего мы читаем книги? В книгах ищут ответы. А находят вопросы. И, пытаясь ответить на них, читатели становятся писателями и пишут свои книги, но лишь задают новые вопросы. Великая книга задает вопросы, которые делают из ее читателей великих людей.

Случаются отвратительные времена, вроде наших, что-то вроде эпох оледенения, когда люди перестают задавать вопросы и искать ответы. Но эти времена быстро проходят. Волны поколений сменяют друг друга. И каждая новая волна отрицает прошлую, и сама становится прошлым. Но все они очень похожи. Всегда люди будут задавать вопросы. И всегда будут искать на них ответы. Это значит, что книги будут писаться всегда. В основании всякой философской системы, всякого открытия – прочитанная в детстве или юности книга. Возможно, лишь строка из книги. Стихотворение. Все мы состоим на девяносто процентов из книг.

Что побуждает нас собирать книги? Поиск главной книги. Книги книг. Мы ищем книгу, в которой сосредоточена вся поэзия и вся мудрость мира. Ее нет. Она еще не написана. Она никогда не будет написана. Кого-то это огорчает. И напрасно. Это означает лишь одно: книга никогда не умрет. А если умрет, это будет смерть человеческой цивилизации.

2017-й

Из окна троллейбуса я увидел в окне встречного автобуса знакомое лицо. Еще не вспомнив, где и когда мог видеть этого человека, я инстинктивно поднял в приветствии руку. Знакомый незнакомец ответил мне тем же. Повинуясь предчувствию, я вышел на первой же остановке, надеясь, что он поступит так же. Человек, улыбаясь, шел навстречу, а я лихорадочно перебирал архивы памяти. Мы пожали друг другу руки, и незнакомец даже обнял меня, а я так и не вспомнил, кто это. Он был мудрее, прозорливее и предупредительнее.

– Пресный. Максим, – представился он, увидев на моем лице выражение неловкости. – Где-то мы с вами встречались. Не могу вспомнить где.

В голове моей тотчас же вспыхнула «Зеленая лампа». Не узнал я Пресного по очень простой причине: он был без хемингуэйевской бороды. Удивительно, как я вообще обратил на него внимание.

– «Зеленая лампа!» – воскликнул я с облегчением и радостью узнавания и, в свою очередь, представившись, продолжал: – А я вас прекрасно помню. Больше

того, живу по вашим заветам. Принцип подготовки альпинистов. Принцип «четырёх П». Постоянство, постепенность, последовательность, правильность... И читаю я в своем темпе со скоростью собственных мыслей.

По глазам его я понял: Максиму Пресному приятна встреча, но имя мое мало что говорит ему. Ничего удивительного. Старый писатель и не должен знать всех своих читателей пофамильно. Хотя сегодня при мизерных тиражах это вполне возможно.

– Бедный Шульц, – помрачнел он, склонив голову. – Слышал, слышал. Этот пожар. Ужасно, ужасно. Навсегда погасла «Зеленая лампа». Жаль. Очень жаль.

– Она не погасла, – сдерживая печальный восторг, поспешил я его обрадовать, – правда, со временем слегка пожелтела. И зажигаем мы ее не так часто. Но в годовщину пожара собираемся возле нее. Какая удача, что мы встретились накануне этого печального события. Приходите. Немного нас осталось, но все будут рады вам.

Каждый год в день смерти Шульца я зажигаю его керосиновую лампу, надеясь, что душа старого книжника невидимой ночной птицей прилетит на ее огонек.

Я давно не чувствую прохладного дуновения ее прозрачных крыльев, как это случилось в первый раз.

Но меня это не расстраивает. Моя душа по преимуществу состоит из книг, которые читал и Шульц. У нас общая душа. Понимаете? У всех, кто читал одни и те же книги, великие книги, часть души общая.

Пресный сдержал обещание и ровно в назначенное время позвонил в дверь. Кроме него пришли Добрая, Андрей Зубарев. Почетное право зажечь лампу Шульца мы предоставили в этот раз Пресному. Лампа была зажжена, электрический свет погашен. Мы, желтолицые, выпили по бокалу «Саперави», помянув покойного книжника, и по очереди изложили Максиму Пресному свое представление о пожаре и его символическом смысле. У каждого оно было свое. Андрей говорил о случайности события и размышлял о закономерности всякой случайности. Я настаивал на версии самосожжения. Добрая прочитала стихи на смерть старого рыцаря в дырявой кольчуге старого свитера, посвятившего свою жизнь служению Ее Величеству Книге. Но все мы сходились в одном: этим пожаром и гибелью Шульца завершилась эра книголюбов.

Когда я сегодня захожу в книжный магазин и вижу, как прогибаются стеллажи под тяжестью изданий, о которых мы когда-то лишь мечтали, наша общая с Шульцем душа радуется и печалится одновременно. Если бы эти вожделенные книги появились лет сорок назад, их смели бы в одночасье.

Стоят. Не сметают. Смотрю тиражи. От тысячи до пяти тысяч экземпляров. На все постсоветское пространство. Но все-таки они есть, эти пять тысяч. Их, конечно же, больше. Просто для многих книги стали слишком дорогими. Многие читают с экрана планшетов и компьютеров. Но большинство людей вообще не читают. И не видят в этом беды.

– Мы были счастливыми. Нас не заботил завтрашний день. Мы были уверены в нем. У нас было много свободного времени, и мы могли позволить себе роскошь задуматься о смысле жизни и прочих вечных вопросах, – сказал Андрей, – но есть времена, когда у людей на это нет времени. Все время уходит на то, чтобы просто выжить. На барахтанье в кринке молока. Разве можно их винить за то, что они не читают книг? Их можно только пожалеть.

Пресный молчал, погрузившись в размышления. Молчание – сильная вещь. Особенно выразительно оно у писателя. Молчанием можно передать больше, чем словами, когда слова теряют цену. Но мало кто из авторов может пользоваться этим выразительным средством. Вовремя поставить точку и не перетирать пустоту в ступе. Пауза всегда говорит больше сорочьей стрекотни.

– Завершилась эра книголюбов, – повторил Пресный и утвердительно кивнул головой, – завершилась.

Помолчал и еще раз повторил:

– Завершилась.

Ударил ладонью по столу так, что в лампе вздрогнул язычок пламени и, словно избавившись от наваждения, продолжил:

– Но я предчувствую возрождение. Позвольте рассказать вам одну историю. Возможно, это ни о чем не говорящий единичный случай, да и касается он только меня. Но послушайте. Однажды ночью меня разбудил телефонный звонок. Знаете, разные часовые пояса, у кого-то день, у кого-то ночь. Звонил племянник. Дядя, говорит, могу ли я сообщить номер твоего телефона одному человеку? Я сердитый спросонья: что за человек и какая срочность поднимать меня среди ночи? Извини, говорит, не сообразил, что я теперь на другом полушарии живу. Этот человек нашел меня в Инстаграме. Искал-то он тебя, но мы с тобой тезки. И фамилия у нас одна. Очень обрадовался, когда узнал, что ты мой дядя, и что живешь в одном с ним городе. Он думал, что ты тоже за пределы отечества укатил. Разделяю его радость, говорю, но дело-то в чем? Племянник выдохнул в трубку и говорит: этот человек утверждает, что когда-то твоя книга спасла его от самоубийства. Спасла жизнь и помогла определиться. Сейчас у него свое дело, семья, дети. Он давно тебя ищет, чтобы просто сказать спасибо. Человек, насколько я могу судить, воспитанный, интеллигентный. Даже стеснительный. Он тебя уже пятнадцать лет ищет. А самое удивительное, что живет он в нескольких кварталах от тебя. Я стряхнул с себя дрему. Спрашиваю с недоверием: «Какую книгу он прочитал?» Племянник сообщает название и, язва такая, делится, кто бы его просил, своим мнением: «Я и сам в недоумении. Дважды прочел, так и не понял, что могло человека отвратить от суицида. Фантастика. История об одиноком и отчаявшемся человеке, который отправляется в прошлое и там, среди развалин и лабиринтов, ищет свою потерянную душу. Утыкается в тупики, попадает в ловушки и западни. А бесприютная душа его в это время скитается среди развалин нашего настоящего, ищет своего хозяина. И, главное, они так и не нашли друг друга. Да и не могли они пересечься. История без счастливого конца».

После звонка племянника я уже не заснул. Нашел книжечку, о которой шла речь. Карманный формат, бумажная обложка, печать тускловатая. Тираж 1000 экземпляров. Чудо, что они встретились, незнакомый мне человек и моя книга. Последняя книга, после которой я уже ничего не издавал. Повесть о самоубийце. И заканчивалась она печально. Я перечитал ее. И долго размышлял над тем, что в ней было такого, что смогло спасти другого человека от рокового решения? Эта повесть была написана в трудные для меня годы, когда внезапно из-под ног ушла почва, и половина населения страны потеряла работу, родину и смысл жизни. Но главная мысль повести была такая: человек без души – вот единственное бедствие, единственная катастрофа, которых только и надо страшиться.

Это была искренняя книга. Других достоинств у нее не было.

Утром мой читатель прислал мне смс. Мы созвонились. Асылхан, так его звали, вкратце рассказал историю своей жизни. Родился на Байконуре. В первой космической гавани планеты. Отец его входил в команду по обслуживанию стартового комплекса. Мальчик гордился отцом, городом, в котором жил, мечтал стать космонавтом. Тогда все мальчишки мечтали стать космонавтами. А ему сам бог велел. Видел все старты, случившиеся на его веку, не по телевизору, а живую. Но – перестройка, благие намерения плавно перешли в развал страны. Ракеты стартовали все реже. Отца уволили со службы. Ни работы, ни перспектив. Редко кто в те годы мечтал стать космонавтом. Семья переехала в наш город. Купили на оставшиеся сбережения развалюху в пригороде, и деньги кончились. Безработица. Нищета. Отец заболел и умер. За долги домик отключили от тепла, света и газа. Брошенные всеми пацаны стихийно сбивались в банды. Нюхали клей, пили всякую гадость, кололись. В общем, все прелести перехода от «тоталитарного» к «свободному» обществу. Мама не могла повлиять на трудного ребенка. И сгинул бы пацан от наркотиков или в бандитских разборках, если бы однажды угрюмый сосед не пристрастил его к чтению. Отвел в библиотеку. Асылхан так сказал: «Я ходил в библиотеку, как в храм. Это было мое убежище от всех бед. От всех несправедливостей. Я приходил к открытию и сидел в читальном зале, пока не выключали свет. Но однажды в 2002 году случилось то, о чем мне не хотелось бы вспоминать. Меня предал человек, в которого я верил. Единственный человек, в которого я верил. Последняя капля. И я решил: жить дальше не имеет смысла. И именно в этот день я увидел на полке “Новинки” вашу книгу. Раскрыл и не мог оторваться. Я взял ее домой и читал ночью при свете уличного фонаря, который стоял как раз против моего окна. Она перевернула всю мою жизнь. Для меня это была не просто книга. Я словно встретил самого себя, свою потерянную душу. Я читал и плакал. Вы даже не представляете, как важно было мне знать, что в моем городе, где-то совсем рядом живет человек, который, не зная меня, все обо мне знает. И этот человек делится со мной простой мыслью. Если у тебя не хватает сил нести груз жизни, значит, надо изменить свою жизнь. У тебя есть тот, кто никогда тебе не изменит – твоя душа. Обопрись на нее. Как будто кто-то сильный, уверенный протянул мне, провалившемуся под лед, руку. И я за эту руку схватился». – «И вас не смутили эти кочующие отдельно от тела бесприютные души?» – «Нет. Нет. Меня часто об этом спрашивали те, кому я давал читать Вашу книгу. Я всегда так отвечал. Есть книги, в которых все вроде бы правда, а прочитаешь – ложь. Встречаются лживые книги, книги без души, но я их не считаю за книги. А есть книги, где все вроде бы выдуманно, а все правда. В таких книгах есть душа». И вот какую философию он мне поведал: «Нам кажется, что у каждого из нас своя отдельная душа, не связанная с другими. На самом деле моя и ваша душа, души всех составляют одну всеобщую душу человечества. И если подумать, вы – это я, и я – это вы. И тот, кто знает эту тайну, никогда не останется один. Он всегда может подключиться к этой всеобщей душе или душе другого человека». – «И как это сделать?» – «Самый простой способ – пойти в хранилище великих душ. В библиотеку. Каждая книга – чья-то душа, подаренная тебе. Нужно просто раскрыть книгу. Я раскрыл вашу книгу, и вы поделились со мной своей душой».

Максим Пресный замолчал, покашлял в кулак и сказал сдавленным голосом:

– Вы даже не представляете, как это потрясает, когда тебе говорят, что твоя книга спасла человеку жизнь. Короче говоря, он искал меня, чтобы попросить

разрезать пути его годовалой дочке, – голос его сорвался, он помолчал, прокашлялся и, взяв себя в руки, продолжал: – Не знаю, насколько моя книга повлияла на его решение жить. Но то, что его рассказ возродил меня, – это точно. И кто кому должен быть больше благодарен, я не знаю.

Он снова замолчал. И мы молчали. Наконец Андрей спросил:

– Разрезал пути?

– Да, конечно. Прелестная девочка. Правда, испугалась незнакомого дядьку с портновскими ножницами, заплакала. Я тогда еще и бороду носил. Сам в зеркало смотреть боялся. Лохматый, кудлатый, как чудище лесное. Но только разрезали пути, тут же побежала по дорожке мимо игрушечной домбры, книги, ручки, денег. Выбрала папу, родную душу. Ну а потом уже, когда ее вернули на дорожку, проявила мудрость не по годам, выбрала деньги. Наверное, банкиром будет. Милые, добрые, тактичные люди. По-моему, счастливая семья. И друзья у них замечательные.

– А чем занимается Асылхан?

– У него несколько бутиков. Сотовые телефоны, всякого рода гаджеты. Я в этом мало смыслю. Но! Ради чего я и затеял весь этот разговор? При одном из бутиков, в самом гнезде этой виртуальной заразы, он открыл книжный магазинчик. Очень необычный по нашим временам. Никаких женских романов, никаких кровавых детективов, прочей чепухи массового спроса. Только хорошая литература. Если у человека нет денег, он может сесть за столик и почитать. Этакий гибрид магазина и библиотеки. Читай, но при одном условии: предварительно надень перчатки. Да, да! У меня тоже такие же глаза, как и у вас, были. Я тоже вспомнил Шульца. Душа Шульца возродилась в этом молодом человеке. И читатели у него собираются. Нет, не только бабушки. Что-то вроде нашей «Зеленой лампы». Но без лампы. На столике компьютер для общего пользования. То, что не нашли на полке, можно поискать в Интернете. Можно купить книгу, прочитать и принести назад, обменять на другую. Можно просто прийти и посидеть, ничего не читая.

– Полагаю, убыточная затея? – спросил Андрей.

– Думаю, да. Но это дополнение к основному бизнесу. Для души. А на стене, в рамке под пуленепробиваемым стеклом, как Джоконда Леонардо, – моя книжица.

Пресный снова покашлял в кулак, и мы молча уставились на язычок пламени керосиновой лампы.

– Вот кому бы я хотела завещать свою библиотеку. Быть хорошим человеком, значит, почти всегда, быть хорошим читателем, – сказала Добрая. Промокнула салфеткой глаза, а затем высморкалась в нее же.

– Да, – сказал Андрей, не отрывая глаз от пламени, – полагаю, что наша зеленая лампа, пусть и пожелтевшая, не скоро еще погаснет.

– Это так здорово, так волнительно. Книга, пройдя через костры смутных лет, снова возрождается. Как феникс из пепла, – сказала Добрая. – Книгу, как и душу, сжечь нельзя. Давно я не испытывала такого умиротворения.

Я думал, что она достанет из сумочки блокнотик, чтобы записать фразу. Но она все с тем же трогательным выражением смотрела на живой огонь.

25 апреля – 7 июня 2019 года

